



Борис Евсеев

Раб небесный

Борис ЕВСЕЕВ

РАБ НЕБЕСНЫЙ

Рассказы и новеллы

СОДЕРЖАНИЕ

I.

- 1. Сокрушитель призраков**
- 2. Раб небесный**
- 3. Осеннее безумие птиц**
- 4. Улица лучистых вод**
- 5. Кукушняк**

II.

- 6. Мосгам. Симфония слов**
- 7. Сульфазинный крест**
- 8. Издёвочный слуга**
- 9. Антипят и книжный червь**
- 10. Поставщик ангелов. Изменение существ**

III.

- 11. Путь пчелы. Абхазская новелла**
- 12. Сила заблудших строк. Опыт оправдания случайного человека**
- 13. Рогатый заяц**
- 14. Кончиками пальцев**
- 15. Остров Карантин**

ЧАСТЬ I

СОКРУШИТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ

Рассказ

Отлепив щеку от вагонного окна - удивился: на стекле остались две-три капли свежей крови. Сразу вспомнил: утром пытался подбрить разросшиеся бакены. Это не удалось, чуть повозившись - бросил. Сейчас от плотного прикосновения к стеклу порезы вскрылись. Трогая тыльной стороной ладони изрезанную щеку, беспомощно улыбнулся. «Вот так всегда: начал что-то необходимое и позабыл, отвлёкся».

Лёгкий тычок в спину оборвал мысли: приостановившийся было поезд снова стал мощно набирать ход...

Сигналист Настёна верила и не верила своим глазам. Меж тёмных северных лесов, на несколько секунд замедлив ход, пролетел, едва касаясь рельсов, совершенно новый, лунно-белый состав с двумя локомотивами. За одним из вагонных стёкол мелькнуло знакомое лицо. Настёна встала, как вкопанная, но сперва подумала не про человека – про поезд.

«Не «Ласточка» и не «Сапсан». И уж подавно - не «Красная стрела»! Как пить дать, новый поезд тестируют, пустили пробный...»

Не замедляясь на подъёме, где притормаживали все высокоскоростные, лунно-белый вдруг за клубился плотной дымкой и вместе с ней растворился в глубокой выемке неба. Тут же раздался странный звук: словно на дальнем Лихом болоте лопнул рыбий огромный пузырь.

Ветром, шумнувшим вслед новому поезду, перехватило дыхание. «На воздушной подушке! Точно... Давно ведь про это разговоры были!»

Настёна прошла несколько десятков шагов и вдруг села прямо на рельсы, чего с ней отродясь не случалось. Бережно выставив рядом сигнальный фонарь, или как его звали на станции «светило», и, снова вспомнив человека, мелькнувшего за окном, она

совсем растерялась. Не узнать человека было нельзя! Виноватая, но и чем-то необоримо притягивающая улыбка словно бы продолжала висеть в стылом октябрьском воздухе.

«Да нет же. Показалось, ясен пень! Вон его сколько, страстотерпца царственного теперь малюют. И на иконках, и на обёртках дешёвых... А в поезде, наверное, актёр какой-нибудь. Роль тренирует. Правда, лицо не актёрское, не испитое, не потасканное. Но вообще-то: одно дело обёртки, и совсем другое – вещество тѣла...»

Путевой обходчик Нифонт Ильич Веледников искавший Настёну для собственных нужд, обнаружил её понуро сидящей на рельсах.

- Привет, Настёныш!

Та молча кивнула.

- Чего тут простужаешься? До «Красной стрелы» полчаса ещё.

Настёна лишь безнадёжно махнула рукой и вдруг спрятала лицо в ладонях.

- Опять Капцов в тебе подруливал? Ну, я ему, гаду...

Настёна едва заметно покачала головой. Потом, помедлив, указала рукой на север:

- Туда... К месту, где авария страшная была в 2009-м, улетел поезд. В нём человек всем известный: улыбка виноватая и щека кровит...

- Поезд-самолёт? Это ново, - рассмеялся Нифонт, - ты, я вижу, устала. А пойдём-ка, Настёныш, на станцию. Чайком тебя угощу, медку добавлю.

Он грубовато-бережно поднял Настёну с рельсов, развернул лицом на юг, подталкивая в плечо, повёл на станцию.

- Когда происходит авария, - а они хоть и редко теперь, а случаются, – так вот: когда стрясается беда, все не имеющие понятия о железнодорожном деле обыватели, все вместе взятые бабки, начинают истошно вопить: «Поезд-призрак! Поезд-призрак!» Ослу ясно: враки! Но ведь нужно эти враки как-то объяснить, а не оставлять народ – пусть и самый завалященький – без удовлетворения.

- По другому делу я, Сан Палыч, - трёхаршинный Нифонт досадливо крутил в руках форменную фуражку, - про Настёну пришёл потолковать. Сирота она...

- Нет уж, вы послушайте. До «Красной стрелы» ещё минут двадцать. Вы, Нифонт Ильич, обязаны знать! Хотя должность путевого обходчика таких знаний и не предполагает. Нужно же разобраться, почему у нас участок такой опасный? – Крошка

Капцов тоже скинул фуражку, протёр платочком, кукольно-выпуклую плешь, - взять хоть год две тысячи ноль седьмой, когда на нашей станции...

Снова раздался нагло-смокчущий, словно пытающийся всосать в себя всю округу болотный звук. От неожиданности Капцов надвинул козырёк фуражки на самые брови.

Звук не повторился. Сан Палыч продолжил:

- Вот у соседей в Белоруссии. Там прямо-таки стадами дикими бродят слухи о призрачном товарняке. Вроде он по временам на ихней железке появляется. Фары у товарняка слепые, стёкла выбиты, крыша во многих местах проломлена. Словом, обезображен товарняк до жути. Правда, дедок, который про товарняк первым рассказал, модель тепловоза указать так и не смог. Заладил одно: "Чёрненький, стало быть, паровоз, рельсов не касался, и ни одного человека в ём." - Кто ж таким байкам про чёрный паровоз в эпоху сплошных тепловозов поверит?

- Я вообще-то про Настёну хотел. Но не могу сдержаться! Я ведь не просто обходчик, учёный я...

- Знаю, знаю! Хотите как при советах, здесь у нас на кухне отсидеться? А науку пускай другие двигают?

- Я в кухни современные с трудом влезаю. А наукой у нас только лет пять, как снова заниматься стали. А до этого что? Раскардаш и дуриловка! Но как учёный, скажу вам: есть странные случаи, есть! И наукой они пока не объяснены. К примеру, во время Великой Отечественной напрочь пропали паровоз и несколько вагонов с грузом ценнейшим. Заодно, вся поездная бригада пропала. Кинулись искать. На ветках секретных всё до сантиметра обшарили. Результатов - ноль. А через трое суток пропавший поезд прибыл нежданно-негаданно на станцию назначения. Как с неба свалился! Не было места, где ему спрятаться или отстояться! Ну, машиниста, помощника и техперсонал - сразу в НКВД. Спрашивают: где отсутствовали трое суток? А те только руками разводят: мол, шли и прибыли по расписанию. Да ещё помощник пальцем по стёклышкам часов постукивает. Дескать, вот вам, товарищи, точное время. И только на одних часах, которые дни и числа показывали, - у машиниста трофейные обнаружились, - жизнь на трое суток отставала! Сразу выяснили и другое: все приборы на паровозе опечатаны, печати не взламывались. А на хронометре - такое же опоздавшее время, как и на трофейных часах. Версии были разные: от поднятия состава в воздух неизвестным немецким летательным аппаратом до направленной волны животного магнетизма. Дело, ясен перец, замяли - время-то военное, огласка никому не в радость. А от себя добавлю: паранормальщина на железке может и должна происходить. Вы Сан Палыч, сами посудите: громадное ведь количество стальных нитей-путей! А это мощнейшие магнитные и электрические поля.

Как учёный-физик добавлю: всякая мистика из-за возмущения электромагнитных полей как раз и происходит. Ну, как четыре года назад, тут, недалече...

- Стоп! Было дело, не спору. Но ведь оно полностью объяснено. Хотите документ? А, пожалуйста. - Капцов кинулся к неудобно расположенному посреди служебного помещения письменному столу, выхватил вроде наугад, но выхватил безошибочно листок с печатью, сунул Нифонту прямо под нос. Тот досадливо отмахнулся, и тогда Капцов, торопясь, стал читать вслух:

*«Новгородской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с имевшей место 26.10.2016, в 22.10 на 188 кмк 10 перегона **«Мстинский Мост – Малая Вишера»** остановкой высокоскоростного поезда «Сапсан» № 778 сообщением «Москва – Санкт-Петербург».*

Данное происшествие произошло в результате зацепления указанным поездом настила пешеходного перехода на железнодорожных путях (пассажиры были отправлены резервным поездом, пострадавших нет). Движение по железнодорожному пути восстановлено в полном объеме».

- Ну, Нифонт Ильич, теперь успокоились? Вы же учёный. А в этом случае перед вами прямо-таки страничка из учебника по скоростному железнодорожному движению.

- Не успокоился, но кое-что просёк. Именно как учёный! История с «Сапаном», она на что указывает? А указывает она на образовавшийся близ перегона «Мстинский Мост – Малая Вишера» гравитационный туннель. Только не подземный тоннель, а воздушный! Мощным всосом этого невидимого туннеля настил с места приподнят и был. Слыхали вы про гравитационный поезд, который, допустим, из Канберры в Калининград сквозь сердцевину земли когда-нибудь промчаться сможет?

- И слышать про эту ересь не хочу!

- Тогда вот вам случай исторический. Тоже про Мстинский Мост и Малую Вишеру. Там, в XIX веке, страшный пожар случился. И вот, в 1869 году, после пожара, во время ремонта моста появилась вдруг, - как было записано со слов очевидцев, - над мостом колёсная пара, да ещё и с тягловым дышлом, с шатуном работающим! Одна колёсная пара, другая, третья! Колёсные пары крутятся. Шатуны стучат, работают!.. А поезда с вагонами – нет, как нет. Десятник увидел колёса отдельно от поезда существующие - и в обморок! Рабочие со страху разбежались, с трудом в отдалённой деревне Нижние Гоголицы их разыскали. Не хотели они к мосту возвращаться. Новых рабочих пришлось нанимать. А тут ещё...

- Всё, баста! – Крикнул, брызнув слюной, крошка-Капцов, - вы же учёный! А как бабка Мартемьяниха, ей-бо, рассуждаете! Живо за мной, высокоскоростной приближается!

На синей от влаги утренней дороге повстречалась Настёне изящная Блямба: суховоблистая оторва со станции Дно, застрявшая почему-то в посёлке У.

Хоть и кончили они дружить, но разговаривать - иногда разговаривали. Блямбой подругу бывшую, звали не все. Некоторые, зная Блямбин разбойный нор, звали её по фамилии, прибавляя сладко-ласкающее «мисс». Существовать в ореоле зарубежной «мисс Виль» Блямбе жутко нравилось. Вот и сейчас, резанув жестяным голосом нежное утро, она, сперва по-английски, а потом по-русски, спросила Настёну:

- Did you hear the swamp sound this morning? Ты звук болотный сёдни утром слыхала?

- Не-а.

- Ну и дура! Болото наше Лихое, оно ведь завсегда предупреждает.

- О чём, дорогуша?

- А ты не знаешь? Ясен пуп, об аварии. А, может, и о чём похуже, darling!

Тут Блямба, она же мисс Виль, приклеив ладонь к сердцу, с душевной требовательностью напомнила:

- Ты, Настёна, предупреждениям верь! Звук такой, говорят, лет десять назад под Новгородом слыхали, где обалденный случай случился. Шёл себе товарняк на самом малом ходу. Хоть диспетчеры и давали ему "зеленую улицу". Только из-за низкой скорости, машинист затормозить и успел! А тормознул он потому, что увидал на путях мужика и бабу пополам разрезанных! Тепловоз буквально в тридцати сантиметрах от них остановился. Случай этот, как водится, на товарняк и повесили. Машинист, дескать, сперва на скорости переехал людей, а потом испугался и подал состав назад. Так прокурорские определили. Только ведь все поезда идут по этому перегону со скоростью 80-90 километров! И если б мужик с бабой такой скоростью рассечены были - по кусочкам бы их собирали. А тут, как ножичком: вжик и пополам!.. Невидимый поезд их, похоже, разрезал!

Болотный раннеутренний чмок не остался без внимания и других окрестных жителей. Покинув задумчивую Настёну, зашла Блямба к уволенному из городской школы и осевшему в посёлке учителю Пёрлову. Тот обрушил на неё новое знание:

- Вы, мисс Выль, должны знать: этим звуком наша провинциальная оппозиция предупреждает правительство, – кончайте ваши опасные игры! Даже болото от вашей власти, пердя, грустит...

Блямба вышла от учителя неудовлетворённая. «Какая тут, блин, политика? Какая такая позиция камасутровская? Здесь другим пахнет!»

Навстречу Блямбе попался отрешённый от мира Веледников. Мисс Выль решила и с ним покалякать. Но Нифонт стремился домой и Блямбу за свою знакомую не признал.

Дома Нифонт записал нечаянную мысль. «Поезд-призрак на нашей ветке бесчинствует? Бесспорно! Но две-три несостоявшихся аварии наталкивают на мысль: есть не только поезд-призрак, но и поезд анти-призрак! И создан он, скорее всего, по типу гравитационного поезда». Эта мысль физика-обходчика вмиг успокоила. «Есть материя, есть и антиматерия. Есть призрак, должен быть и анти-призрак».

Мысли Нифонта о призраках и анти-признаках имели объективную основу. Не так давно крошка-Капцов обронил: «Вводят именные поезда. Строятся «Александр III» и «Граф Витте». Эх-ма! Поезд бы имени товарища Троцкого побыстрее изготовить! Он бы иллюзии всех этих Виттов порвал, как Бобик тряпку...»

Вагоны истории, её громадные составы, с локомотивами в голове и хвосте, то грохоча, то бесшумно проносились перед Нифонтом, нежно и скоро уплывая за лесопосадки и даже поверх них. Всё происходящее внезапно показалось ему занятой пьеской с абсолютно реальными, а вовсе не вымышленными действующими лицами. Тут же эти невыдуманные лица он на бумагу и перенёс. Получилось складно:

НИФОНТ ИЛЬИЧ ВЕЛЕДНИКОВ. Физик-обходчик.

СИГНАЛИСТ НАСТЁНА. 22 года. Не замужем.

САН ПАЛЫЧ КАПЦОВ. Начальник станции, влюблён в Настёну. Малорослик. Вспыхивает паклей при слове мистика. Моложав, хоть ему и за 40. Втихаря все зовут его - Нач Палыч.

БЛЯМБА, она же МИСС ВЫЛЬ. Содомитка и сплетница.

БАБА МАРТЕМЬЯНИХА. Конченная самогонщица.

ПОРТЯНА. Ласковая тварь близ железнодорожных путей.

ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОР ТЯГИ. Родился в посёлке У. По праздникам надевает советскую железнодорожную форму образца 1979 года.

Действующие лица поглядывали на Нифонта из листа вопросительно и лукаво. Словно спрашивали: а дальше-то что? Не торопясь отвечать, физик-обходчик потиху-помалу сообразил: кого-то среди этих лиц не хватает! «Кого бы это? Нужно пойти к Настёне и выспросить: кого именно она видела в мелькнувшем поезде?» А пока обозначить мелькнувшего без имени: «ЧЕЛОВЕК ЗА ВАГОННЫМ СТЕКЛОМ».

Нифонт Ильич стал листать записи дальше, но вдруг прерывисто зевнул. Ловко, как в цирке, на цветном громадном колесе подкатил к нему сон. Соскочив с колеса, сон с достоинством поклонился, притронулся к правому, затем к левому Нифонтову веку...

В 1918 году, реквизнув несколько царских роскошных вагонов, факельщик революции товарищ Троцкий составил чудо-поезд. Был поезд неуязвим, чертоподобен и неслыханно нов. Как беспалый анчутка, опутившийся на четвереньки и нацепивший вместо копыт – колёса, носился поезд по России! Телеграф в поезде стучал круглые сутки. Особенно часто телеграфировал товарищ Склянский, склонный к децимации, и поэтому оставленный в Москве для присмотра за Ульяновым-Лениным. Само собой девушки-телеграфистки на цырлах бегали. Грубо-вытесанные из балтийских и прикарпатских камней революционеры в скоторазделочных кожаных хомутах ходили вперевалку. Ещё - радиостанция мировая. Хочешь - Чикаго слушай, хочешь - на Лондон вещай. Словом, сказка зарубежная, а не поезд! Вагоны были соединены особой сигнализацией и внутренней телефонной связью. А какой поместительный гараж в поезде был! Едва вмещал он огромную цистерну с бензином, два легкомобиля и пару-тройку грузовиков. Ко всему прочему – типография. Плюс баня, и через вагон - библиотека. Перед баней, ясен пень, ресторан. Ну и, конечно, личный вагон товарища Троцкого, принадлежавший раньше Николаю Кровавому, которого прозвали так не без содействия факельщика...

От заморской новизны и царской роскоши был чёртов поезд тяжёл, как бронтозавр, но и разгонист, и быстр, когда надо.

Новый поезд рождал небывалые формы войны. Из чёрного состава, как из волчьего логова, касаясь стальными животами земли, выползала жадная колёсная свора в составе двух легкомобилей и трёх грузовиков. Хищная эта свора в разведывательно-карательных целях углублялась в пышно-зелёные российские места, на полторы, даже на две сотни вёрст. На грузовиках и в легкомобилях умещались тридцать стрелков-коммандос.

По словам самого факельщика революции: «Поезд всегда был в курсе того, что происходит в мире. Все находившиеся в поезде отлично владели оружием. Все носили кожаное обмундирование, которое придаёт тяжеловесную внушительность». Так оно и было! На левом рукаве кожана, ниже плеча, сияла крупная металлическая звезда с пятиконцами, выделанная на монетном дворе не хуже царских крестов и нагонявшая страх на воспетые поэтическими слияниями глухие сёла.

Поезд Троцкого успешно выполнял спецоперации в тылу врага: то есть, в тылу у тех, кто не хотел или не мог забыть дореволюционную Россию. Причём, даже издали было заметно: светится состав изнутри синим пламечком!

Появление «кожаной своры» в далёких от линии фронта местах производило впечатление неотразимое.

- Войну везут! У-ф-ф, - густо выдыхали мужики, встречавшие поезд без шапок.

- Ад притарабанили, - обмирали учителя из поповичей, - ад на колёсах! - дрожащими пальцами ощупывали они крестики на груди.

- Бинты, марлю, и сапоги с энтими... с баноклями раздавать будут, - радостно полошились молодухи.

- А как отберут у вас те бинокли соседи лютые? - сомневались учителя из поповичей.

- А мы тех соседей из обреза! Чпок – и готово, - заступались за легко одетых, продуваемых насквозь молодух, женатые мужики.

Война гражданская, война жестокая, кроме умножения жертв ничего не признающая, летела в охвосте поезда колким ветром. Хрустя кожанами, соскакивала война с подножек легкомобилей. «Смерть и подкуп, подкуп и смерть!» - эти не произносимые, но хорошо чуемые слова, осыпали острым еловым сором цепенеющих от новой жизни мужиков.

Командуя чудо-поездом, Реввоенсоветом, Наркоматом по военным и морским делам, можно было, шутя, захватить власть целиком. Но Лев Давидович, - сперва конституционный монархист, затем искровец и меньшевик, а позднее факельщик большевистской революции, - отчего-то медлил. Как на малый престол, взошёл он на подножку чудо-поезда 8 августа 1918 года. А спрыгнул – лишь в феврале 21-го. Многим тогда показалось: не человек в кожанах, а сама братоубийственная война, ступила на землю февральской Москвы. Гневно и резко ступила! Однако лишённая брони, радиоэфиров и перетёртых в прах командос – стала война слабеть. Но и кроме этого ослабления что-то смущало факельщика в недавней поездной жизни, где-то в чём-то он надломился...

Внезапно Нифонт проснулся. Слова о факельщике революции, прозвучавшие во сне, по-научному тщательно, записал. Даже составил предварительную формулу гражданской войны: Троцкий + броня + поезд + тогдашние командос = ... равно уничтожению России? Здесь Нифонт мысль оборвал, формулу недовывел. Слишком близко, на паучьих лапках, подобралась формула к современности! Слишком рьяно своими паучьими рога-ротовыми придатками в современность впиалась!

Дневной сон, обязательный для работавших ночью железнодорожников, к Настёне не шёл. А всё потому, что небольшой посёлок у станции У. был ей давным-давно тесен.

Натянув на себя юбку и китель, не забыв бережно поправить форменный берет, лучась зеленоватыми глазами и по-детски пухля сочные губки, просто так, для собственного удовольствия, вышла она из дому. И опять, как магнитом, потянуло её к железнодорожному полотну. Ступая по шпалам, радовалась непонятно чему. Но постепенно радость свою опознала: хотелось ей на путях встретить Нифонта! Осмотревшись, и никого не заметив, бочком присела на невысокую насыпь. Тут вместо Нифонта явился Капцов. Снова стал звать замуж.

- Вы б хоть про себя сперва рассказали, Сан Палыч, или стишок какой. А то заладили: «замуж, замуж». А я вот учиться буду. Может даже, в Москву поеду.

- Давай с тобой лучше в Вышний Волочок перепрыгнем. Там тоже филиал какого-то института есть.

- Не-а. В Москву хочу.

- Дура! Кому ты в Москве нужна! А из Вышнего мы с тобой в столицу каждую неделю ездить сможем. Бесплатная ведь у нас дорога!

- Так я ещё и дура?

- Нет, это я так... Просто вырвалось. Все на Москве помешались. Чего вам в ней?

- Я ж не навсегда, я учиться только.

- Вот я и говорю: одни дураки в Москву стремятся. Нужно сперва себе протекцию крепкую найти, а потом в столицу соваться.

- Ну, раз мы дураки и дуры, — чего с нами и водиться, чего замуж звать?

Раздосадованный непонятливостью Настёны крошка-Капцов ушёл. А та продолжила вглядываться в равнобежные нити путей, молчаливо поющих свою сонно-стальную песню. «Желдор леса, желдор огни, желдор рябина. Хорошо, ей-богу! Трепетно и таинственно так. Люди ездят, поезда туда-сюда снуют, как бегунки на молниях. Прямо сказка!»

Вдруг припомнилось: где-то здесь, по рассказам бабы Мартемьянихи, обитает неведомая тварь Портяна. «Портяна, Портянушка! Хоть ты посоветуй: как быть? Жизнь несётся поездами скоростными: мимо, мимо! Куда ж это жизнь моя прибудет? И когда?.. Не отзываешься? Эх, Портяна! Стало быть, нету тебя. Врёт, видать, Мартемьяниха».

Тут неведомая тварь Портяна возьми да и отзовись:

- Не такая уж я невидимая! Видишь листок на ближней ольхе шевелится? Я это...

- А чего ж тогда тебя Портяной зовут? Если ты такой листок распрекрасный?

- Кавалер один жуковатый прозвал так. Отказала я ему. Отказала, а почему – сама не знаю. С тех пор стала Портяной. А ты, трепетулька, как зовёшься?

- Настёна я.

- Ладно, иди домой Настёна. Урок окончен, – хихикнула Портяна, - приходи сюда завтра, если жива останешься.

- А чего это ты жизнью моей расшвыриваешься? Жива – не жива... Живей тебя буду!

- Так тут у вас вроде авария намечается. Я ж как та кошка: всё наперёд чую.

- Вишь, ты какая? Неведомая, да ещё и противная! Не будет у нас никаких аварий. Это я тебе ответственно, как сигналист говорю!

- Сигналист, сигналист, улетишь под ветра свист!

- Ты у меня, Портяна, дошутишься. Вот сейчас просигналю в духовой рожок – сама вмиг рассыплешься.

- Ладно. Не обижайся, Настёныш. Это я так. Для красоты слога. Может, и повезёт тебе. Мимо чёрный поезд проскочит.

- Что за чёрный поезд такой?

- Невидимый он. А по существу окраски металла - чёрный. И нутро у него такое же. Ну, прощевай, Настёна, здравствовать тебе желаю...

Эпизод зафронтной жизни, долго смущавший товарища Троцкого, был таким.

Однажды, вслушиваясь в мировое звучание жизни, услышал он вой неведомого животного. «Волк? Шакал? Гиена? Только откуда в российский зоосад гиены проникли?»

Чёрный поезд замедлял ход. Тихий далёкий вой то пропадал, то, как заунывная песня, возникал снова. На остановке зазвучал ещё громче. Схватив подмышку огромный маузер с деревянным прикладом-кобурой, в сапогах с накладными голенищами, в тёмно-красной куртке, в огромных автомобильных очках и без фуражки, не сказав никому ни

слова, ТовТроц кинулся в близлежащий лесок. Зырк! А под пурпурной лещиной, не волк, не шакал, - заяц. Белый как первый снег!

«Это к чему же заяц? Да ещё беляк! Осень ведь... И не воют зайцы. Когда они вообще белеют? Конечно, зимой! А сейчас октябрь. Рано, рано ему!»

Негодую на несвоевременность заячьего окраса, Троцкий выстрелил. Заяц упрыгал. Вдруг откуда ни возмись, на том же месте - старуха. «Из оврага она, что ли, вывернулась?»

- Чего зря палишь, милоч? У тебя врагов - уйма! На них патроны трать. Ладно, не сердчай! Идём, берёзовицей тебя угощу. А то извёлся ты на войне своей пакостной...

- Не могу, бабка. От поезда отстану.

- Как же тебе отстать? Ты сам поезд и есть! И начальник этого поезда вековечный. Глянул бы хоть когда на себя в стёкла: голова у тебя закоптелая и труба из неё торчком торчит. А из трубы - пар с искрами: так и валит клубами, так и валит!

Человек-поезд бережно потрогал умную свою голову – никакой трубы не было.

- Да ты не сумлевайся! Попьёшь берёзовицы, чёрная немочь твоя в песок и уйдёт.

- Какая немочь? Почему чёрная? А, вспомнил. Это вы, сидни деревенские, так эпилепсию зовёте. И почему это я начальник поезда? Других должностей ищу, бабка.

- А не видать тебе. Потому как на поезде этом цельный век рыскать будешь. Даже опосля смерти. До тех пор войною будешь рыскать, пока тебя как розового младенчика...

- Стой, бабка, стой! Как это – «войною рыскать»?

Но старуха не ответила и при этом стала по частям исчезать: сперва руки, потом голова, шея, ноги. Скоро один живот, покрытый сине-клеточным фартуком, остался. Кусочками, частями стало уходить и сознание Льва Давидовича. Факельщик революции упал рядом с пнём и очнулся уже в вагоне, бережно уложенный на царскую койку верным матросом-охранником.

- Товарищи! Это просто обморок, - забеспокоился он, лёжа, - я готов к борьбе! А хрычовку эту мелко-клеточную, изловив, допросить надо...

Охранник-матрос, обожавший Давидыча до изнеможения, побежал за старухой. Той нигде не было.

Тем временем грозный Лев стал подробно рассматривать роскошь царского вагона. Она была приятна и неприятна, вызывала крайнее негодование, но и притягивала. От созерцания роскоши факельщик стал мёрзнуть, о чём немедленно телеграфировал в санчасть. Попросил валенки на кожаной подошве. Когда валенки доставили - надевать их не стал, шkodливо полез в левый, вытащил оттуда этикетку на ленте с выбитым золотом по коже

посвящением рабочих «Фетро-треста» из города Уральска. *«Любимому вождю революции товарищу Троцкому»*, - прочёл он. И во второй раз за день потерял сознание...

Нифонт окончательно понял, как и Капцов, - мечтает он взять в жёны Настёну. Не побаловаться, а именно – в жёны! Жить с ней степенно, размеренно, меж любовными соитиями обучая начаткам физической химии и тонкостям конструкций гравитационного поезда. И, конечно, рассказывать ей день за днём историю российских железных дорог, выстроив для наглядности во дворе их полноценный макет.

По временам суровым обходчиком всех отечественных железных дорог Нифонт себя и чувствовал. Особое удовольствие на этих дорогах, смешанное, правда, с густоватой тревогой, доставляли ему два рисовавшихся в полуяви поезда: аспидный и снежно-платиновый. Аспидно-чёрный всегда резко останавливался близ обнесённой полуколыском старых лип станции У. И выпрыгивал из аспидного жестяной человечек: в пронзительно-жёлтых крагах, под бровями стёклышки, да ещё сбита на затылок фуражка без опознавательных знаков. Хрустя всем, чем можно, краснокожий человечек, страшно похожий на товарища Троцкого, пробегал рысцой по платформе и, четырежды выкрикнув рубленое приветствие, возвращался к поезду. Смешно отставляя зад, как матрос или обезьяна, взбирался в вагон и на ходу начинал диктовать:

- Срочно! Товарищу Склянскому! Принять все меры ко всему, что творится в РСФСР!

Вслед за диктовкой, сыпался из вагона треск эфира, наплывали сладко чмокающие англо-американские голоса, гремели чугунными ядрами немецкие вздохи, лопались нежными панталончиками французские вожделения.

Платиновый был не таким. Был он тихо-быстр и треском под завязочку уши не набивал. Мощно влекомые двумя локомотивами, выплывали из-за поворота пять вагонов и вдруг за триста метров от станции, на всём ходу (что невозможно по законам физики), как перед боем, над рельсами замирали. Снежно-платиновый словно ждал, когда стихнут радиоэфиры, и аспидный наберёт ход, - чтобы тут же дать ему в зад, скovyрнуть под откос. При этом завлекательные железнодорожные бои не казались Нифонту проектом новой компьютерной игры, а представлялись запредельной, до времени скрытой правдой жизни.

Неделю назад аспидно-чёрный и платиновый мелькнули вновь. Здесь Веледников сам себя обругал: «Совсем ты окосел, компешные свои игры придумывая. А всё почему? Да потому, что баба Мартемьяниха бешеной вишни в первач добавляет!»

Физик-обходчик отколупнул пробочку, нюхнул первач. Запах дурманящий, запах сладко-прелый обволок его... Тут же в раковину остатки первача, отдающие белладонной, он и выплеснул. Но чувство тревоги не уходило. «Что если чёрный и платиновый и впрямь существуют? По каким-то ещё неоткрытым законам физики?... А, может, всё-таки авария? Её душа чувствует?»

Предчувствие близкой аварии не покидало в последние часы и Настёну. Так и не отдохнув, она вскочила и стройно-изящной, но и ритмично-сильной походкой снова двинулась к станции. Но думала при ходьбе не про аварию - про Нифонта.

«Всё бумаги пролистывает, историю изучает! А вот я, к примеру. Живая ведь я история! А чего? Люди и есть история отечества. Не битвы и перевороты – люди! Каким битвам быть – это как раз из личной истории каждого человека проистекает. Ну, может, из соединения историй и случаев. А мой случай какой? А такой! Повернётся сейчас личная история ко мне задом, к лесу передом, - и каюк! Так сегодня Нифане и скажу: «Нач Палыч, мол, то ли сватается, то ли к сожительству склоняет. Вот пускай Нифаня и решает, кто ему дороже: история железных дорог, или сигналист Настёна...»

Обидевшись, Настя замедлила шаг. И враз, ещё явственней, почуяла острые токи надвигающейся аварии.

«Хорошо б сегодня поплотней приласкать Настёну», - физик-обходчик, улыбаясь, открыл свои записи, собравшись закрепить на письме несколько мыслей про гравитационный поезд. Но от гравитации отвлекли реальные истории, бережно заносимые в хорошо разграфлённую «Товарную книгу кирпичных и плиточных чаёв» выпуска 1917 года, заполненную пока лишь на треть. Нифонт стал перечитывать.

«Удивительный случай рассказал товарищам по работе оператор телекомпании "Хортица-7" В. Ф-ко. Воскресным утром, возвращаясь с рыбалки, шёл он к железнодорожной станции "Плавни-пассажирская".

- Метров за пятьдесят, - уверял оператор, - на моих глазах, из ничего возник на путях состав. Шесть-семь новеньких, с иголки, вагонов! Меня как ошпарило: откуда взялись? На станции - никого. Погода ясная. Состав – достоверный, вещественный, правда, как мираж над рельсами чуть приподнят. Перепугался я, оцепенел. А тут ещё товарняк грохочет, к новенькому поезду по той же колее приближается. Думаю, мать

честная - столкнутся! Но только метров за двести до столкновения поезд-призрак растаял в воздухе.

Коллеги грубо высмеяли оператора. Но тот продолжал твердить, как заведённый: "Пьяным не был, пребывал в здравом уме"».

Нифонт сделал пометку и продолжил чтение. Пора было на станцию, но учёный-обходчик словно искал что-то раньше им не замеченное, важное, может даже – решающее.

«14 июня 20... года в Ашхабаде погиб министр железных дорог Туркмении Хамурат Бердыев. Рядом с локомотивным депо, да еще во время инспекции. Начальник депо уверял: министр не заметил приближения локомотива и погиб под его колесами. Правда, по слухам, которые и по сегодня бродят среди тамошних железнодорожников, машинист локомотива, якобы сбившего министра, клялся на Коране: "Бердыев был сбит каким-то мощным ударом с путей еще до того, как прошёл маневровый". Эти невероятные показания к материалам расследования прокуратура, ясное дело, не приобщила. Как и вопиющий факт: на маневровом тепловозе не оказалось никаких следов столкновения - ни крови, ни микрочастиц ткани с одежды погибшего. Но ведь смерть Бердыева точно наступила от удара локомотивом, характер повреждений ясно на это указывал. Вот только каким локомотивом, если, кроме маневрового, никакой другой там не пробегал?»

Лунно-белый, а по другим описаниям платиновый поезд видели не только Настёна с Нифонтом, но и баба Мартемьяниха, добавлявшая в первач бешеной вишни, а сама этот сладко-губительный напиток и на дух не выносившая. Прошлой ночью, выйдя во двор по малой нужде (туалет был и в доме, но мочиться на природе было, куда веселей), - так вот: выйдя во двор, Мартемьяниха углядела над ночным лесом белый дымок. Даже не дым - клубок паровозного пара, который вдруг разлетелся в клочья, а на его месте мелькнули вдруг вагонные окна. «Это зачем же окна в небе? Небо, оно само - окно! Непорядок. А, может, окна лазерные?» – пораскинула умом Мартемьяниха, часто и подолгу исследовавшая внучкин Инет. Справив нужду, баба совсем было успокоилась, но вдруг увидала: теперь вагонные окна плывут прямо на неё! Охнув, баба зажмурилась. Потому как в одном из окон почудился ей государь-страстотерпец Николай II. Правда, не такой, каким его нынче рисуют на бумажных иконках, а слегка запущенный, неглаженный, может даже, нестиранный. «Без женской ласки, видать, путешествует», - посочувствовала Мартемьяниха. Но сразу мысли свои и оборвала: «Цыц, дура, каки-таки путешествия могут быть у мёртвого человека?»

Император же, подождав пока Мартемьяниха разлепит веки, слегка улыбнулся и прижал палец к губам. Словно хотел сказать: «Помалкивай в тряпочку, Мартемьяниха. Окна в небе – не бабьего ума дело».

- Ага, ага, не бабьего... - согласно закивала Мартемьяниха вслед исчезающему монарху.

Войдя в дом, и враз подобрев, баба осмотрела плоды своих трудов и решила снизить цену за литр первача с 80 до 60 рэ. Но потом подумала и решила цену не сбавлять: «До особого распоряжения свыше».

В 5. 04 утра, начальник станции Капцов услышал сообщение диспетчера:

«Высокоскоростной Петербург - Москва опаздывает на полторы минуты». После чего компьютерный голос пропал. Но ведь тексток остался!

- Плохо это, - пожаловался смолкшему компу Нач Палыч, - из рук вон плохо.

Он уже собрался выйти на платформу, как вновь заговорил компец:

- Только что сообщили: с поездом что-то не так, он снижает скорость. Над путями - странный гул! Его зафиксировали на двух станциях.

- Какой гул? На каких станциях?

Тут компец умолк окончательно.

Ещё раз обдумав один из законов физической химии, Нифонт подозрительно уставился на початую бутылку «Старого мельника» и отодвинул пиво в сторону. Сквозь прозрачные физико-химические законы глянуло на него лицо Настёны: оно было тревожно-милым и слегка заплаканным. Нифонт вскочил, как ужаленный: «Вдруг и впрямь аварию чувствует?»

Спустя пять минут он уже подходил к станции. Через тридцать-сорок секунд должен был показаться «Сапсан». Но его почему-то не было. Хотя в последние три года опозданий не наблюдалось. Нифонт вгляделся: Настёна, в жёлтых сигнальных нарукавниках, с фонарём в руке и петардами на поясе, стояла слишком близко к путям. Не ища причин, Нифонт кинулся к ней. Тут послышался нарастающий шум поезда, идущего по той же колее, что и «Сапсан». Дико озиравшись, он понял: ни к Настёне, ни дать знать начальнику - не успеть. Оборачиваясь назад, Нифонт споткнулся, грохнулся оземь...

Настёна тоже услышала приближающийся встречный. Он кинулась на пути, засветила красный фонарь, потом схватилась за духовой рожок, висевший на груди, бросила, вжала кнопку радиостанции. С ужасом зыркнув вправо, облегчённо выдохнула: «Сапсан» запаздывал! «Опоздай, опоздай, милый», - сипло вскрикивала Настя...

«Великий негодяй» – так звали в 900-х симпатыгу-Бронштейна друзья по Николаевскому кружку марксистов - тоже забеспокоился. Американские выдумки с передачей голоса в эфир и трансляцией через сто-двести лет стали раздражать. Далёкие эфиры вещь сомнительная. А таран или маузер – это верняк. ТовТроц уже хотел было направить поезд в Свияжск, чтобы вновь насладиться памятником первореволюционеру Иуде, который возник на месте памятника Янису Юдиньшу сперва в воображении Льва Давидовича, а затем и в представлении масс. Но разомлел, промедлил: потому как при воспоминании о гипсовом, красно-буром, в два человеческих роста Иуде, который в судорогах срывал с шеи веревку и грозил небу кулаком, - на душе стало сладостно.

- В Свияжск, на остров! - крикнул факельщик, - нужно запечённого в кипящей волжской крови Левиафана, отведать!

Вдруг Троцкий смолк. Всё прошедшее, вместе с вымышленным памятником Иуде и невымышленным памятником красному комбригу Юдиньшу, провалилось куда-то к чертям собачьим! Мелькнула за окнами новая жизнь: высоченные стеклодома, туго, словно бараньи кишки перевязанные, прозрачно-матовые переходы над желдор путями, снова трёхцветные - ненавидимые с особой страстью флаги, двуглавые орлы на станциях.

Чуть посомневавшись - не приступ ли чёрной немочи? - ТовТроц, ущипнул себя за мочку уха и тотчас передал по связи машинисту: «Встречный - таранить!»

Вековечное командование поездом, предсказанное дерзкой старухой, унижало, злило. Полное отсутствие кожаных курток выносило мозг. Машинист, однако, работал исправно, призрачный поезд носился по стране безостановочно. ТовТроц догадывался: жители России то видят его, то не видят. И это тайное присутствие в делах страны нравилось ему сильнее, чем власть кремлёвская, когда-то прельщавшая больше жизни.

«Увеличить скорость», - телеграфировал он машинисту и, расслабившись, залился чистейшим детским смехом, каким заливался давным-давно на юге, милым чертёнком выскакивая из-под обеденного стола, полоша мать и отца...

Эрвээсовский поезд рвануло вперёд. Падая, Лев Давидович ударился затылком о царский столик и окончательно перестал понимать, в каком столетии он сейчас обретается.

Мартемьяниха тоже услышала встречный. Ещё б не услышать! Когда была молодая - два поезда таким же макаром столкнулись. Баба выскочила во двор с громадным на верёвочке морским биноклем, навела прибор на станцию. Никого там вроде не было. Вдруг, чуть левей, в лёгком туманце увидала она Настёну, мотающую красным фонарём. Вскарабкавшись на курятник, баба углядела и вынырнувший из ниоткуда чёрный поезд. А над ним, зависший поверх путей, - как висит над вороной белый кречет, - пассажирский состав чистейшей серебряной 999-й пробы! Мартемьяниха трижды перекрестилась. Однако, ни тот, ни другой поезд не пропали, зато стоявшая на рельсах Настёна отпрыгнула в сторону и покатила с насыпи вниз. Баба уронила бинокль на колени, плюнула по очереди в оба окуляра и, не дожидаясь сшибки поездов, помчалась к станции: командовать излечением пассажиров, ежели кто живой на «Сапсане» останется.

Трёхаршинный Нифонт вскидывал на бегу взгляд выше путей, хоть и боялся снова упасть, разбиться. Это он крикнул Настёне: «Уходи!», и она, чудом его услышав, скатилась по насыпи вниз. Сделав над собой страшное усилие, Нифонт обернулся к северу. Опаздывающий «Сапсан» только-только показался из-за поворота. Тогда он снова развернул себя к югу: над чёрным, ломающимся как в воде, идущим с громадной скоростью поездом-призраком, появился снежно-платиновый состав!

«Гравитационный! Или... На воздушной подушке... Не из земли вынырнул! С неба упал!»

Душа отреченца мало-помалу наполнялась восторгом. Вздурораженный новыми тонкотелесными ощущениями, Николай Александрович Романов понемногу приходил в себя. Постепенно оживающая мёртвость всего окружающего, неслыханная скорость и тишина хода его собственного, уже не императорского, а неведомо какого поезда, вселяла давно позабытые надежды. «Не тёмные силы и не светлые, а совсем иные, над российскими железными дорогами реют! Силы магнитные, силы неубиваемые...»

Отреченец прикрыл глаза и тотчас увидел движущуюся на него объёмную картину. Он всегда любил эти внутренние *cinema*! Самая влекущая из картин была такая.

Босой, в рубище, раня ступни, следовал он по путям за медленно влекомой пылящим поездом одиночной артиллерийской платформой. На платформе вместо пушки высился балаганный помост со ступеньками. На помосте – грубо торчащий, вымазанный кровью и жёлчью шест. На шесте – корона. Её следовало снять, бережно утвердить на собственном темечке. Но духу на это не доставало.

Стало ясно: внутренние картины посылались ему затем, чтобы узнать истинный вариант, истинный ход его собственной жизни, которому когда-то воспротивился.

Император встряхнулся. Десять минут назад, на остановке, он говорил с машинистом, который явился к нему с докладом. Полковник Б. ответами своими привёл его в хорошее расположение духа. Правда, и досада мелькнула. Что-то утаил машинист-полковник!

- Стать постоянным анти-призраком, ваше величество, - виновато заговорил полковник, - вот какова, думаю, новая задача императорского поезда. Слишком много болезнетворной призрачности над отечественными дорогами скопилось. То призрак коммунизма, то вирус-призрак Троцкого и его заместителя Склянского...

- Вирусная природа призраков? – глянул он вопросительно на полковника.

- Именно так, ваше величество: едко-призрачные, смертоносные вирусы одолели!

Император одобительно кивнул. Красота предстоящего сокрушения миражей и призраков, развеществление ложных целей и устремлений, окутала приятным ознобом. Тут же прояснилось и другое: призраки и тонкотелесные души, обитающие в скрытых от глаз пространствах, имеют разную - низшую и высшую - природу!

«Сокрушитель призраков на российских железных дорогах? Что ж. Весьма почтенная служба для наказанного за отречение. Сокрушать призраки былого и восстанавливать былое предметно – и есть назначение истории».

Крошка-Капцов выпутался, наконец, из оцепенения. «Бежать в Литву? Уехать в Сызрань?»

Раздался звонок. Генерал-директор тяги что-то зычно орал в трубку.

- Да пошёл ты... Секретарш по кабинетам щупай! - крикнул он генерал-директору. Тот в ответ словно бы захлебнулся водой из-под крана.

Швырнув трубку на пол, Нач Палыч кинулся к путям.

Неведомая тварь Портяна тоже метнулась к приостановившемуся чёрному поезду. Но её каким-то мощным потоком отбросило на юг, к Лихому болоту.

Лежа у насыпи, Настёна слышала звук «Сапсана» справа и звук чёрного поезда слева. «Всё... Капец...»

Папиросный треск раздираемого надвое бумажного воздуха заставил её открыть глаза.

ТовТроц заметался по вагону. «Ненужная остановка поезда! Что происходит?» - телеграфировал он машинисту. В ответ - молчок. Он хотел крикнуть о задачах революции. Но вдруг сдавило горло, затем виски. Факельщик понял: он возвращается туда, откуда пришёл. Возвращается в громадное озеро чёрной немочи, которое уже не отпустит его ни в сладчайшую революцию, ни в горчащую повседневность. Резкий удар по крыше аспидного поезда надломил дух мятежного Льва: «Какая-то чепуха военщины», - пробормотал он, слабея.

«Вот век твой и кончился, - услышал ТовТроц голос дерзкой старухи, - а ты, дурашка, не верил...»

Машинист попробовал стронуть чёрный поезд с места, но не смог... Ещё удар сверху, скрежет, треск! Чёрный – рассыпался в прах. Платиновый – истаял. Но прежде, чем истаять, замедлил свой лёт над скатившейся вниз Настёной. В окне вагона она увидела человека похожего на иконку. Тот сразу от окна отступил, но на стекле остались 2-3 капли крови. «Брился с утра и порезался, бедный...» - всхлипнула сладко Настёна.

Мощно проследовал на Москву «Сапсан».

И здесь, вместо царской улыбки, она увидела над собой лицо Нифонта. Не раздумывая, ухватила она обходчика за форменный воротничок и что было сил повлекла на себя.

РАБ НЕБЕСНЫЙ

Рассказ

От безнадёги, видать, и от бедности, решился ты играть на улице. Скучность и безысходность были заметны сразу: по истрёпанным рукавам выдавшей виды матерчатой курточки, по выгибу спины, по всклокоченным волосам и глубоким, даже издалека заметным, впадинам под глазами. Твой безотказный Haps Hoyer, твоё «ухо» с клеймом, изображавшим вытянутую в длину лиру, чисто и ясно оттиснутую на немецкой меди, твоя валторна, твой лесной рог, которым я так часто любовался в послестуденческие годы, звучал ещё очень и очень прилично. И место на пригорке, чуть в стороне от подмосковной платформы «Правда», между магазином сантехники и четырьмя высокими берёзами, ты выбрал удачно: народу ни много ни мало, звук летит хорошо, и сам себя - как в городских подземных переходах - не гасит.

Играл ты старинную битловскую песню. И этот «Дурак на горé», этот «The fool on the hill», или скорей более поздний вариант «Fool On The Hill Live» колыхал нашу общую молодость, правдиво и точно рассказывал о тебе тогдашнем и о тебе сегодняшнем. Не хватало лишь двух-трёх короткошёрстных ослов с колокольцами, подвизгивающих флейт и раздолбанного фоно, которое вослед ослам медленно везли бы перед нами на полutorке с откинутым задком и какой-нибудь разбитной девахой в изодранных джинсах, одним пальцем этого самого «Дурака» колунающей.

Оу-оу-о! Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly stil...О-о-о-оууууу... День за днем, один на холме, человек с дурацкой ухмылкой стоит неподвижно. ...О-у-у-о...

Мы не виделись тридцать лет. День за днём шли эти годы, вечер за вечером и ночь за ночью! Ты продолжал играть. Рядом назойливо летал принесённый невесть откуда куриный пух. Свет боковой, свет неясный обтекал тебя с левого боку. Я хотел подойти сразу, но что-то остановило. Решил минуточку-другую понаблюдать со стороны.

В эти-то минуты и клацнул ручным компостером, явно сбрендивший с ума, невидимый, но хорошо осязаемый контролёр времени. И понеслось-поехало...

Мягонькой, при каждом шаге проваливающейся походкой, подошёл к тебе слушатель: щуплый, с лемурьей шерстистой мордочкой. Одежда – пыльно-коричневая, в

полоску. Брюки коротюсенькие, по моде, до щиколоток. Новенькие кроссовки, носков нет, только лодыжки посвечивают. Ещё, смеху ради, напыленная на голову огромная синяя медицинская перчатка - пальчики полусдутые над виском шевелятся, того и гляди последний ум вынут. Цирк, да и только! Правда, слушая музыку, лемуристый как-то подобрался, даже стал выше ростом. Я уже хотел подойти, но тут слушатель радостно на месте подпрыгнул, выхватил огромную костяную (это было видно издалека) расчёску, мигом приладил к ней полоску папиросной бумаги, и стал наигрывать - вернее дребезжать – вторя твоей валторне.

Ты уложил инструмент в футляр, размещённый на какой-то бетонной приступке. Я знал: сейчас, с презрительным удивлением, ты оглянешь лемуристого, заметишь, конечно, и меня. Пришлось убраться за неработающий ларёк. Через минуту-другую выглянув из-за ларька, я увидел: ты уходишь с лемуристым. Сдёрнув с коротко остриженной головы синюю резиновую перчаточку и время от времени подпрыгивая, он что-то увлечённо тебе рассказывает. Чуть повременив, двинул за вами и я.

Весел и дик был раннесентябрьский сад. В саду - Богом забытая, ещё советская, открытая «эстрада»: несколько рядов скамеек с облезлой зелёной краской, невысокий помост, останки выцветшего занавеса по краям. Пустота жизни, вдруг сверкнувшая в столбиках пыли над безлюдной сценой, вдруг резанула по глазам, по ноздрям. Ты и твой спутник скрылись за летней «эстрадой». Ближе подходить я не стал.

Внезапно кто-то невидимый промурлыкал в микрофон:

- Шумовой оркестр и Ансамбль пантомимы и пляски Рояльной фабрики исполнят музыкально-мимическую драму под названием: «Люди тени и люди тела». А потом...

- Зачинай! - крикнул единственный зритель, втиснувшийся в допотопное, но ещё крепенькое кресло, стоявшее в стороне от скамеек, - хватит базлать тут!

От нетерпения этот единственный зритель - одетый в тельняшку, поверх неё в чёрную жилетку и скроённые, опять же из нескольких тельняшек, штаны - даже вскочил, но сразу и уронил свою десятипудовую тушу, назад, в кресло.

- Э-у-у... - Сладко-тягостно завыл кто-то под помостом.

Тут рабочие сцены стали выносить на помост стулья с драной обивкой. На них быстренько уселись шумовики с крышками от кастрюль, расчёсками, стиральными досками, трещётками и детскими сопелками. Правда, один из шумовиков держал в руке настоящую латиноамериканскую румбу с шестью металлическими парными тарелочками. Румба в руке его подрагивала. Выбежали вприпрыжку и плясуны: парни и девушки в

одинаковых зелёных штанах и меховых, то ли гуцульских, то ли чешских жилетках. За ними выступил на пятках совсем молоденький паренёк в казацкой черкеске и папахе набекрень. На груди у паренька красовалась табличка: «Пастушок».

Шумовики поднесли к губам дудочки, первая расчёска издала визгливо-рассыпчатый звук, и здесь из-под сцены показалась рука в бородавчатой лиловой перчатке. Вслед за перчаткой стала выбираться на свет божий немолодая женщина в коротком до колен платье. Лезла она спиной и лишь когда обернулась, стали видны неаккуратно подстриженные усы и пегая козья борода. В голову женоподобного мужика косо влипла разноцветная пластилиновая корона, крепившаяся на алюминиевом ободе.

Музыка смолкла, танцоры приостановились.

- Луидор VIII-й по твоему призыву, Митенька, прибыл!

Десятипудовый полосатик аж засопел от удовольствия:

- Ты Луидор – парень хоть куда: хоть в задок, хоть в передок! Молодец, что прибыл, повеселишь нас. А то кругом скукота ковидная! А вы играйте, играйте, разговор наш тихонько сопровождайте. Давай, Луидор, ври напропалую!

Было видно: Луидор обиделся, и уже открыл было рот, чтобы возразить, но тут из-под крыши, под зудёж шумовиков, стал медленно спускаться огромный – три метра в длину, полтора в ширину - гамак. В нём, лежа на животе, трепыхалась одетая золотой рыбкой, совсем юная девчушка. Чешуя на ней блестела, красный, огромный, наспех приделанный спинной плавник покачивался из стороны в сторону...

В довершение всего, выбежал на четвереньках какой-то худущий актёр. Отставив по-собачьи левую ногу в сторону и вверх, объявил:

- «Крепостной ансамбль пантомимы и пляски» имени Мити Сукно – готов к прогону! Сёдни, Митенька, у нас первым номером мимодрама: «Звездун и рыбёшка». В сопровождении раздолбайского шума, конечно.

- Эту дрянь – на свалку! Тут один звездун: это я, блин! Я у Лещенки пел, Киркорычу подвывал... - крикнул женоподобный мужик, - выкинь, Митенька, эту мимодраму из прогона! А то на главном концерте не выступлю.

Митя согласно кивнул.

- Тогда вот тебе, Митенька, другая пиэска, - гавкнул собачий актёр, - рабочее название: «Несовершеннолетняя».

Рыбка-девчушка вмиг выпуталась из гамака и прошла колесом по сцене. Потом, ловко изогнувшись, и, блеснув чешуёй, подпустила веселья:

- Рыбка, рыбка плавала не шибко, но зато умела танцевать! Не на самоходке, не на сковородке, на спине, ядрёна мать, - сладкоголосо запела она.

- Этта шта? Этта шта я вас... ик... спрашиваю? Мало вам моих денег и моей кровушки? Так вы ещё на меня несовершеннолетнюю хотите повесить? Уберите её... ик... аспиды!

- Ты чё, Митенька? Ей послезавтра восемнадцать исполняется.

- А послезавтра и приводите. И вообще... Крепостные вы мои, хорошие! У вас у всех, гляжу я, крыша поехала. Духовика какого-то сюда приволокли. Он-то нам на фига?

- Благородить шум наш будет, - пророкотала единственная в шумовом оркестре старуха-расчёсочница.

- Я же просил настоящего музыканта, а не какого-то лабуха!

- Он и есть настоящий. Гнесинский, небось, валторнист, - обиделась старуха.

Митенька грозно приподнялся с кресел, но сразу уронил себя назад. Правда, через минуту, всё-таки собрался с силой и двинулся грозно к тебе. В руках у Мити оказалась толстая, окрашенная в синий цвет палка. Защищаясь, ты поднял перед собой футляр с валторной. Я выскочил из-за дерева, пошёл наискосок к эстраде и неожиданно столкнулся с выступившими из-за какого-то сарая рослым полицейским в форме и двумя мужиками в штатском.

Не обращая на меня внимания, все трое двинулись к десятипудовому Мите.

- Вижу, Сукно, никак не успокоишься, - крикнул один из штатских, - и лемур твой, опять же, здесь. А он, между прочим, кур правдинских душит, потом перья из них выдёргивает и где попало разбрасывает! Это, по-твоему, – порядок? Совсем ты, Митя, офонарел со своим людским зверинцем. Мигранток у себя, опять же, завёл.

- Ты зверей и людей моих не трожь! Ихние права все защищены, понял?

Тут я с удивлением заметил: лемуристого, который уводил тебя со станции, нет как нет, зато похаживает, задрав хвост, рядом с Митей настоящий мадагаскарский лемур с хитрой мордочкой и эротической тьмой вокруг глаз. Я стал оглядываться и обнаружил на толстой вековой лице лемуристого человека. Сразу отлегло. Ничего мистического! Просто животное, оказалось как две капли воды схоже с человеком. Пока я размышлял, кто и на каком рынке раздобыл мадагаскарского двойника, Митя дошёл до высшей точки кипения.

- ... кому Сукно, а кому Митрий Митрич Суковатов, - рявкал он, время от времени выбрасывая перед собой растопыренные «козой» пальцы.

Стал накрапывать дождь, правда, летний, тёплый. Препирательства Митеньки и полицейских то угасали, то взмывали вверх.

- Вы все валите отсюда, - вдруг бросив Митю, напустился офицер на плясунов и музыкантов, - шумовой оркестр ваш распущен! Не будете вы играть на празднике пианин!

Митеньку с трудом подняли, увели. По дороге он, как огромный боров, продолжал похрюкивать: «Дорогие мои, крепостные... Крепостные вы мои, хорошие»...

А тебя с одной стороны подхватила под руку золотая с красным плавником рыбка, с другой - паренёк в папахе. Быстро и не оглядываясь, двинулись вы втроём к тылам эстрады. Поплёлся туда и я. Подойдя, никого не увидел. Обойдя эстраду с другого боку, услышал приглушённые голоса. Было ясно: вы спрятались от полиции в дощатой пристройке. Голоса оттуда звучали шершаво и сдавлено, словно там, в пристройке налепили вы на свои лица медицинские плотные маски:

- ... и куда теперь? - равнодушно спрашивал ты.

- Ты извини, Санёк, что так вышло. Халтурку тебе соорудить хотели, - пела рыбка, - да вишь, замели Митеньку.

- А давай в Бра́товщину! - вдруг сказал паренёк, - и недалеко совсем. Что нам Сукно с его плясками и шумовым оркестром? А в Братовщине – человек один есть. Приходит туда, в Ямской дом. Сильное слово от него услышать можем. Сегодня быть обещался. Глядишь – легче тебе станет. Может, работёнку разовую тебе подбросит.

- Потом-то жить на что? Митя хоть немного, а обещал.

- Говорю ж: сходим вечером в Братовщину. Человек, который там бывает, дело может присоветовать.

- А пока поспим часок, тепло тут на сене, - зевнула рыбка, - а то я замёрзла. Слышите, мальчики? Зубами стучу.

Я уже хотел зайти в прилепившуюся к «эстраде» пристройку, поговорить с тобой про жизнь, про звук, как вдруг глянув на часы, обмер. Время быстренько обе стрелки подкрутило, до работы оставался час с небольшим. Не раздумывая, кинулся я на правдинскую электричку. «Прочту лекцию - и в Братовщину»!

Не знаю, что ты делал весь день, но к вечеру в Братовщине картину застал я очень странную. В Ямском доме, где в былое время кипела жизнь, останавливались важные или просто путешествующие люди, мерцал огонёк. Дом этот много лет назад я вблизи уже рассматривал: серый, крепкий, середины XIX века, с мансардой. Когда-то давно в нём жил сторож. А сам я снимал в этих местах недорогую фанерную развалюху. Не раз и не два, в свободное время гуляя по Братовщине, выискивал места, где встарь по указу Ивана Грозного на берегу запруженной Скалбы был выстроен государев путевой дворец, в котором останавливалась царская семья по дороге в Троице-Сергиеву Лавру.

Вспомнилось неожиданно и ещё кое-что об этих местах.

В августе 1667-го, по пути в Пустозерский острог, протопоп Аввакум и сподвижники его Епифаний, Лазарь и Никифор, которым накануне в Москве «урезали» языки, останавливались здесь в избе, выстроенной рядом с караульным помещением. Конвойные были строгие, лишь разок-другой за три дня позволили в тёмное время суток сходить «до ветру». Тьма, наверное, была такой же, как и сегодня. И в этой тьме, чуть пропоротой острым месяцем и подсвеченной по краешку факелами конвоя, Аввакум, выходя во двор, вскидывал голову, гневно поглядывая на звёзды. Одна из падающих звёзд, черкнув по краю неба, протопопа, должно быть, испугала, но её быстрое исчезновение страх рассеяло. Вглядевшись в смоляное августовское небо, подконвойный мало-помалу гневаться переставал, даже прищёлкивал языком, безотчётно радуясь, что тот не «урезан», и можно произносить в голос и полущёпотом слова, которые уже начинали его переполнять, чтобы позже вылиться в неистовое «Житие протопопа Аввакума». Насладившись глубиной небес, возвращался он в избу и утешал Епифания, Лазаря и Никифора. Но те в ответ лишь судорожно плевали на пол и, время от времени широко разевая обезображенные рты, шевелили обрубками языков, ещё не зная: языки через три года слегка отрастут, вновь наловчатся произносить слова. Из-за слов этих опять набегут палачи и уже под самый корень, по надгортанники вторично урежут Епифанию и Лазарю их нежные шлёпалы, которые начальствующий над палачами обзовёт презрительно - змеиными жалами...

Я прикрыл глаза. Урезанные, кинутые псам и на морозе чуть пульсирующие языки, псами брезгливо обнюханные, но нетронутые, слабо сочились слизью, исходили последней кровью...

Тут же подоспело, читаемое мужским далёким голосом, начало несокрушимо-бесстрашного «Жития...»:

«По благословению отца моего старца Епифания писано моею рукою грешною протопопа Аввакума, и аще что реченно просто, и вы, господа ради, чтущии и слышащии, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных бог слушает, но дел наших хочет...»

Я подступил к Ямскому дому вплотную. Одно из окон было приоткрыто, занавесок не было, вместо нижних шибок — две картонки. Ты сидел на стуле. На голову твою — до середины лба - была натянута медицинская перчаточка огромного размера. Правда, эта перчатка была хорошо надута, её голубоватые пальцы, как на башке у лемуристого, не шевелились, а торчали мертвецки-прозрачными колбасками вверх.

- Откажись, отринь... А потом – возлюби нежно то, от чего отказался. Отринутое предстанет иным! - долетал из полутьмы высокий, то ли подростковый, то ли женский голос.

Ты отрицательно мотал головой. Мелькнула какая-то тень, за ней другая. Серо-стальной диодный свет вдруг прикрутили или он сам собою пригас. Зато включили обычную желтяшную лампу, стоявшую на пустом столе от окна слева.

Стали видны ноги сидящего человека. Был он бос, к одной из стоп присохла рыжая глина, серые дорогие велюровые брюки сильно с присохшей глиной контрастировали.

Минуты две-три в комнатах было тихо.

- Ладно, не хочешь - не отказывайся, - произнёс такой же бархатный как велюр, низкий и неторопливый мужской голос, - тогда дай нам звук. Чтобы висел, не уходил. Ты ведь такого звука всегда хотел?

Ничего велюровому не отвечая, ты поднялся, взял валторну, подержал её в руках, сложил, как полагается, губы. Но ещё до того, как ты взял своё любимое ми-бемоль, я вспомнил такой же сентябрь, его начало, вспомнил московскую предвечернюю Рогожку и тебя никак не решавшегося вознести – а по-иному о нём и сказать нельзя – этот самый звук.

Ровно тридцать лет назад, перед сентябрём, ты приехал в эти же почти места, в Новую Деревню. Ты хотел выступить в Москве, на Рогожке, где в конце 80-х и в самом начале 90-х наладил я циклы лекций отца Александра Меня. Ты хотел выступить перед лекцией по русской религиозной философии со своим трёхминутным - как ты сам его называл - «звуком вне границ и пределов». Этот звук, возникающий из ничего, не связанный с музыкальной формой и являвший себя, по твоим словам, только при игре на валторне, – не давал тебе покоя ещё в студенческие годы. Договорившись с дирекцией, я на другой день позвонил отцу Александру домой, чтобы спросить, согласен ли он на такое «звуковое» вступление. Отец Александр рассмеялся и сказал:

- Пусть валторнист ваш приедет в Новую Деревню, гляну на него после службы.

Ты приехал, отец Александр взглянул на тебя и ничего не сказал, только брови его взлетели вверх. Через полчаса, когда ты уже шёл на автобусную остановку, отец вздохнул и сказал мне:

- Ладно, пусть приезжает на лекцию, надо же вашего приятеля утешить хоть чем-нибудь.

Лекция должна была состояться 9 сентября 1990 года в 15.00.

В 15.20 отца Александра всё ещё не было. Полный зал вспыхивал и потрескивал разговорами. За сценой ты протирал клапаны своего Ханса Хоера, продувал мундштук.

Отец Александр не приехал ни в пять, ни в шесть вечера. Извинившись, мы распустили зал. Вскоре уехали директор, охранники, билетёры. С отцом Александром никогда ничего подобного не случалось. Несмотря на громадную занятость, он за три лекционных года не опоздал ни разу. На лекции его почти всегда привозил один и тот же человек: невысокого роста, изумительно круглоголовый, с напряжённо-морщинистой улыбкой, словно приклеенной к скопческому безбородому лицу.

Больше всех в тот вечер огорчился ты. Не взятый звук разрывал твои лёгкие. Мне даже показалось: грудная клетка твоя ходит ходуном. Но, присмотревшись, понял: это просто сентябрьский ветерок вздымает и колышет парусиновую курточку. Договорились запредельный звук отложить до следующего воскресенья. Тогда мы, конечно, не знали: через неделю никакой лекции не будет, потому что лежал в это время отец Александр далеко под Москвой, в посадской мертвецкой, с разрубленным до основания черепом и едва заметной улыбкой на губах...

Но в то воскресенье, 9 сентября 1990 года, ты вдруг сказал:

- А давай я прямо сейчас для тебя одного возьму и удержу в воздухе этот звук?

Я отказался. На душе было смутно. Ты вроде не обиделся, но насупился, смолк.

Потом неожиданно сказал:

- Ладно, иди, я тут посижу. На ступеньках. А после продам, на фиг, это медное ухо!

Я двинулся на троллейбус. Потом остановился, постоял, хотел возвратиться, но медленно поковылял дальше.

Как ты взобрался с валторной на крышу ДК, не понимаю до сих пор. Наверное, оставил футляр внизу, прикрутил ремешком, снятым с брюк Ханса Хоера у себя за спиной, и по пожарной лестнице - вверх, вверх...

Звук беспредельный всеоживляющий, звук, исполненный неведомой нам духовной плоти, поплыл над старинной Рогожкой! Сладко задрожала земля, зазеленели и распрямились осенние листья, проснулись под землёй, облегчённо вздохнув, давно усопшие люди. И сам архистратиг Михаил, мелькнувший в непроглядном небе пурпурным плащом, отложил в сторону трубу, уже приготовленную для извлечения звука, и приблизил к себе сферу-зерцало в виде прозрачно-голубого малого двойника Земли, отразившего в сердцевине своей наше будущее...

Звук кончился внезапно, как и начался. Но листья не скукожились, мёртвые люди частицами земли не поперхнулись, не втянули со свистом двухсотлетнюю печаль в давно истлевшие лёгкие. Всё ожившее так и осталось жить в этом звуке!

Легко и размашисто зашагал я дальше, к остановке...

В Ямском доме тем временем начались изменения: человек, до того сидевший – встал, как пушинку поднял тяжёлую некрашеную табуретку, переставил её к тебе поближе, но садиться не стал. Теперь светло-серые велюровые брюки были едва видны, их почти до самого низу закрыл бежевый плащ, больше похожий на балахон с рукавами. Голова вставшего была посажена красиво, волосы чуть курчавились, на лице от левого уха до уголка губ тянулся узкий, побелевший от времени шрам. Бородку наполовину закрывала спущенная на подбородок медицинская маска.

- Сказали тебе, кто я?

- Да нет. Мы тут всё больше о музыке.

- Зови меня - Раб небесный. Всю жизнь хотел в трубу дунуть, даже учиться хотел.

Балахонистый подошёл к столу, где под настольной лампой лежал в раскрытом футляре твой Ханс Хоер, взял инструмент в руки.

- Так и теперь не поздно. Только не труба это, валторна.

- Знаю, что валторна. Про трубу я в другом смысле сказал. Правда, времени у меня нет уже ни на валторны, ни на трубы. А у тебя время ещё осталось.

Бережно уложив инструмент в футляр, балахонистый трижды щёлкнул пальцами. Прибежал паренёк-плясун, с ним пришла золотая рыбка, уже переодевшаяся в обычный брючный костюм.

- Знаешь кто они?

- Чего спрашиваешь? Я с ними сюда пришёл.

- Там они были плясунами, а здесь другая у них цель.

- Это какая же?

- Человек меняется, сдирает привычную шкуру, сотканную из дензнаков, быта, подстав. Гол тогда он становится и беспомощен. Вот и надо в таком беспомощно-голом состоянии попытаться насытить себя истиной. Как ты свою валторну плотным звуком насыщаешь.

- Ты что плясунов этих - зомбировал?

- А ничуть. Сами сюда пришли. Захотят – уйдут. Мы нейролингвистическим промыванием мозгов не занимаемся.

- Так ты учитель?

- Говорю ж тебе – Раб небесный.

- Этого – не понимаю. Есть ангелы небесные, про невесту небес тоже слышал.

- Это потому что ты слово раб неправильно понимаешь. От извращения слов, от игры их передёрнутыми жаргонными значениями – беды наши. Я в университете учился и

знаю: есть в санскрите слово «га». Означает - жаловать, дарить, давать. И есть слово «bhata». Его переводят так: наём, заработная плата. А ещё - нанятый воин, слуга. Иногда - прислужник. Соединение двух слов «га» и «bhata» и дало когда-то слово «работа».

– Это хорошо, что ты не полуграмотный. А то сейчас каждый второй учитель жизни – или эротоман религиозный, или простужен на всю голову!

- А ещё во «время оно», когда не было колониальных и прочих войн, слово «bhata» могло составиться из «bha», - что значит звезды, светило, солнце, и слова «at» - бродить, странствовать. Получается звёздный странник, так ведь? Путь скитальчества, связанный не только со скитальцами, выполнявшими свою духовную миссию, но и с мореходами, бродячими музыкантами, рудознатцами, – был тогда высоко ценим. Божественное слово «работа» имеет в своих частях и другие важные значения. Первая часть: «bhā» — светить, «bhata» - светлый, светящийся. «Ra» иногда имеет значение: «огонь, жар». Как тут не вспомнить древнерусское - «светлый князь»? Поэтому можешь звать меня и по-другому: Свето-странник, Помогай-небо. А проще – Свето-слов, - добавил твой собеседник.

- Нового Бога из себя склепать собираешься?

- Не Бога, а Его помощника по переподготовке жителей земли к долгим странствиям в высоком воздухе и уже без самой земли под ногами.

- Всё! Баста! Тебе нужна философия. А мне смысло-звук, от которого здесь и сейчас всё оживёт! Ты софист, я музыкант. Ты болтаешь, я творю звук!

- В отобранных словах – атомный заряд любого дела. Вот я скажу тебе сейчас слова апостольские, неотменяемые: *«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся»*. А у тебя просто неосознанная мечта: архангельскую трубу раньше срока занять и тут, на земле, торопливо в неё дунуть. Может, когда срок придёт, ты в свою валторну вместе с ангелами и вострубишь! Вроде бы так на лице у тебя написано. Иди, глянь на себя в стёклышки оконные.

- Лучше ты вокруг себя глянь внимательней. Про дальние времена говоришь. А мне сейчас исцеляющий звук нужен! Посмотри, скольким уродам, калекам, альцгеймерам земную ссылку под кочумок определили. Их что, убивать?

- Опять двадцать пять. Не убивать. Исцелять свето-словием, потому как медицинские предписания и религиозные догмы здесь часто бессильны.

- Я ж и говорю. Могучая и страшная валторна тут нужна! Пусть я кисляй, пусть никудышный. Но размышлять об исцелении звуком ты мне не запретишь. Ишь, цензюрга нашёлся!

- Не цензор я. А про уродов – прав ты. Но и в уродах разбираться нужно. Ты другое пойми! Если ослаблено стремление к небесам, навеки станешь раб земли, раб дури, раб подвала.

Сжав от ярости кулаки, ты вскочил, пошёл к приоткрытому окну. Машинально отступив от окна, я обломил добрый кус штукатурки. Тот ударился о какую-то жестянку.

- Иди, глянь, Федот. Сычик, небось. А может человечешко какой к нам пожаловал. Сычик сегодня уже покрикивал и подвизгивал тут по-щенячьи. Дожди и холода крик его предвещает. Но, может, и о чём другом говорит...

Пятясь, отступил я за угол. Через несколько секунд раздались шаги: лёгкие, ритмичные. Слышно было: плясун-Федот шумно набрал воздуху, захлопал, словно собираясь взлететь, руками, как крыльями. Но споткнулся, упал, подражая сычику, чуть поскулил, отряхнулся, рассмеялся и кинулся назад, в дом.

Ёжась от холода, снова подступил я к окну. Давно, давно пора было войти в дом, стыд подслушивания жёг щёки, терзал меня. Но при этом было ясно: войди я сейчас в дом, – всё рухнет! Разговор перетрётся в пыль, Раб небесный уйдёт и не вернётся, а ты... Ты просто захочешь «начистить» мне морду, правда, в последний момент, удержишь руку, и от этого и тебе, и мне станет на душе только горше.

- ... всё равно непонятно мне. Я ведь не какой-то лажук. Я валторнист классный! А уже два года в переходах штырюсь, сплю в пустых курятниках. Ты тоже недалеко от меня ушёл. Санскрит знаешь, а в холодном доме от жизни прячешься. Это, по-твоему, правда божеская?

- Чем неказистой жизнь – тем она ближе к небу.

- Это кто ж тебе такое сказал? Ты наших священнослужителей на весы поставь: одни центнеры! Мордашки их лоснящиеся в «крузаках» вспомни!

- Что верно, то верно. Слишком прикормились некоторые в привычных местах. Но есть и среди них дальнзоркие. Да и саму церковь нужно понимать, как взгляд в будущее, а не взгляд в прошлое. А ещё понимать её надо как всю землю: реки-моря-долины, экологию с природоохраной. Но сегодня нужна ещё и церковь странствующая, церковь путешествующая, до каждого малого-неразумного добредающая...

- Про стремление к небу говоришь, а сам земные законы пересматриваешь. А они эти законы, совсем не божеские и не церковные. Как будто сам не знаешь!

- Небо не скоро для нас отворится. А земные законы... их волохатая лапа и впрямь за горло всех нас держит! Но не для окаменелых умом остолопов и не для мёртвых людей истинные законы писаны. Жаль только – и тех, и других вокруг тьма-тьмушая.

- Вот ты и прокололся! Нам ведь талдычат: Богу любой пень с ушами, любой маньяк с кастетом за пазухой - по сердцу.

- Так говорят те, кто преступление возвёл в закон жизни, кто убийство естественным правом считает. А ещё - это слова мёртвых, среди живых обретающихся.

- Приплыли. Как же узнать, кто мёртвый, кто живой? Может и мы с тобой - мертвые?

- Жив тот, кто дело своё не умертвил. Кто отказался от издохших и воняющих падалью словопрений. Кто изжил в себе мысли о насильственном умервщлении других людей. Вот сейчас тебе пальцем по воздуху картину нарисую.

Я совсем было всунулся в приоткрытое окно, так захотелось увидеть нарисованную пальцем картину. Видно было плоховато, но всё-таки разглядел: балахонистый очертил пальцем круг, двумя точками наметил глаза, дугами - брови, ещё несколькими чёрточками рот, нос, ручки, ножки.

- Вот и вся картинка. Ну, ещё напоследок - треугольничек платья и волосы длинные, вьющиеся.

Тут Раб небесный рисовать прекратил, стал рассказывать. Я снова отступил от окна.

- Жил себе молодой учёный с пригожей, но шустрой женой. И стала мужнина учёность жену раздражать, начала она ходить налево. А учёный так в свою санскритскую филологию углубился, что сперва ничего и не заметил. Опомнился, когда жена к одному военному наполовину жить переехала. Трое суток у военного поживёт, трое суток дома. И так месяц за месяцем. Объясняла - сменной работой. Узнав про это – не стоит мир без ябедника – решил учёный жену наказать, даже убить в мыслях намеревался. Но потом решил сам себя кончить. К железнодорожному полотну примеряться стал. Правда, не сделал ни того, ни другого, потому как встретился ему старичок-доктор, живший на покое в подмосковной Мамонтовке. Тот вовремя объяснил: ни одно дело в мире убийством или самоубийством не решается. «Но и жить с такой тяжестью нельзя, – продолжил доктор, - нужно создать из обидчицы осязаемый образ, создать двойника, что-то наподобие тибетской тульпы».

- Что ещё за тульпа такая?

- Тульпа в тибетской традиции – созданный мыслью двойник. По-европейски – образ. Но не художественный, а осязаемо-физический. Понимаешь? Силой мысли ты можешь «слепить» мужской или женский образ, сможешь насыщать его деталями до тех

пор, пока он от тебя не отделится, не заживёт собственной жизнью. Если хочешь избавиться от человека - слепи его образ, запи в деревянную шкатулку и пусти по реке к далёкому морю.

- А с этим-то учёным что?

- Так учёный и поступил. Полгода корпел, а создал-таки двойника жены в двенадцати красочных лубках с надписями, да ещё и куколку пластилиновую слепил. Запер эту русскую тульпу в шкатулку, перекрестился и отправил по Скалбе-Уче-Клязьме к далёкому морю. А сам перебрался на Дальний Восток, к бухте Лебяжьей, устроился в леопардовый заповедник...

Несколько минут в Ямском доме было тихо. Где-то рядом опять взвизгнул сычик. Затем послышался глубокий с присвистом вдох и собеседник твой произнёс:

- Бог её простил. А я нет, не простил пока. Но забывать стал. Теперь странствую, радуюсь, что от страшного дела доктор меня отвадил. Иной раз кой-кому помогаю. Идём со мной, постранствуем. Станешь, как сам и хотел, валторнистом небесным.

- Давай я тебе лучше «Дурака на горе» сыграю.

— Конечно, сыграй. А потом пойдём, друг! Ходьба и молитва действием, они быстро правильной жизни учат.

- Как это – молитва действием?

- А так. Ты ведь упирался, не хотел сюда в Братовщину идти, хоть и близко. Не хотел, а пошёл, потому как я тебя молитвой, содержащей призыв к действию, поманил. Слышал я вчера, как ты на станции играл. Вот и подумал: чего б тебе вместе с игрой хорошие мысли в головы людские не вкладывать? Я когда двойника женщины создавал, кое-что «вынимать» из пространства научился. Вот и помогу тебе уплотнить звук будущей твоей трубы-валторны, сделать звук этот всюду слышимым! Только задумает какой-нибудь поганец чёрное дело, – враз услышит направленный на него звук. Звук предупреждения, звук развеществления... Вместе со звуком вонзится в поганца и новая реальность: продует мозг, бляшки из сосудов повычистит!

- Клёво, конечно, такую озвучку миру дать. Только бы лажи не напороть.

- Не напорешь. Позже и без валторны звук очищающий сможешь в себе собирать и посылать, куда требуется. Да и некоторые другие отобранные люди в скором времени смогут без всяких Инетов и ТВ такие тысячекратно усиленные и очищающие звуко-смыслы рассылать. Мысль от неумелого перевода на экран сечётся, тускнеет. А мыслезвук – он всегда безущербным остаётся. Глянь внимательней: благая мысль водвинута в

среднерусские холмы, в реки влита, в рощицы. Бог сподвинул, а наши святые, наши отцы-философы и матери-докторницы надышали и вдули, как утопшему вдувают в лёгкие воздух, в тот же Валдай, в Мещёру, в степи Воронежские, камни Уральские и тайгу Уссурийскую - благомыслие, благовестие... Думные воды, мыслящие леса, уразумевшая степь... Скоро они перестанут быть трепотнёй рёхнутых поэтов! Станут действующей силой нашей жизни. Эти новые «субъекты Федерации» наравне с человеком и будут выправлять жизнь земную, связывать её с жизнью небес.

Раб небесный смолк, шумно выдохнул, но говорить не начинал.

– Давай, продолжай! – заторопил ты его.

- Да всё почти и сказал. Остальное сам додумаешь. Разве только вот что: на своём малом пространстве ты звук подходящий уже создал. Пора, пора насытить звук плотной мыслью и начать воздушную рассылку в наших краях! А то – Митя Сукно, Митя Сукно, дай денег, посели в кладовке, - ни к селу, ни к городу рассмеялся твой собеседник.

- Может тогда сейчас этот мысле-звук и запустим? – неуверенно спросил ты.

- А чего ж? Бери валторну. Сосредоточься для взятия звука... Ну, есть?

Не отрывая губ от мундштука, ты кивнул.

- Теперь пять раз про себя повтори наилюбимейшую мысль.

Подождав минуту, Раб небесный спросил:

- Готово? Теперь отложи инструмент. Слышишь, как плещется на волнах воздуха твоя мысль?

- Не-а, не слышу.

- Ничего, так сперва бывает. Успокой сознание, найди то главное, что волнует.

Произноси про себя мысль просто, даже коряво, без литературщины. Ну, есть?

Тут послышалось фырканье подъезжающей машины.

Ты досадливо крикнул, Раб небесный опять рассмеялся, кто-то погасил лампу.

Быстро обогнув Ямской дом, прижался я плечом к его тыльной стене и на минуту-другую замер.

- Облегчаемся, гражданин?

Кто-то некрепко, скорей по-приятельски, взял за плечо. Я обернулся: увалень-сержант, фуражечки полицейской нет, щёки, как маков цвет, голова по-детски круглая. Но глаза, - как щёлки.

- Просто, к стене привалился. Пришёл к знакомым, голова закружилась.

- Каки-таки знакомые? Не живёт в этом доме никто. Давно заколочен он. Правда доски пацанва иногда отрывает. Головы б им за это поотрывать! А только вы, гражданин, я вижу, выдумщик. Ладно, поехали с нами, в отделении проверим.

- У меня паспорт с собой.

- Так тут темно. А фонарь у меня, видишь, слабенький. Так что давай за мной, по-хорошему...

В полиции пробыл я недолго. Меня там и пальцем не тронули, вообще обошлись на удивление учтиво. После проверки по компу моих данных, даже чаю предложили, но я отказался. Уже повернувшись к выходу, вдруг услышал знакомый с подхрюком голос:

- ... я сказал - ослобоните! И ослобонили! Но я вам этого принципиально не забуду. А ну крикни начальника!

Раздался треск, потом, вроде, упал стул, за ним ещё один.

Говоривший со мной капитан съёжился и негромко затараторил:

- Уйти бы вам побыстрей! Начальник - в отпуске. А Митя Сукно, он придирчивый. Знает, гад, что начальника нет. А вас он утром видел, и я тоже видел. Только я без формы был. Вдруг Митя к вам привяжется? Свободно покалечить может. И как ему помешать? Он сюда своих обалдуев вызвал. Денег-то у него – ого-го! Так что Христом-Богом прошу, раз-раз – и в окошко. Есть тут у нас одно, без решёток. Будете заказывать такси - отойдите подальше. Как бы Митя вас не застукал. Увидит, обидится, – тогда какую и вам, и нам!

Снова раздался треск. На этот раз словно пластиковая занавеска разодралась. Мигом сиганул я в окно. Но такси вызывать не стал, побежал, часто останавливаясь, из Правды в Братовщину.

Через двадцать минут был я на месте. Свет в Ямском доме уже не горел. Я заскочил вовнутрь – тоже никого. Подсвечивая мобилкой, поискал по комнатам, проверяя: нет ли хода в подполье. Ход был прикрыт досками, и нельзя было определить: пользовались им недавно или нет.

Я вернулся на улицу. Жалко помаргивал далёкий фонарь. Рядом - никого. За те полтора часа, что я отсутствовал, изменилась и погода: стало заметно холодней, и дождик стал накапывать сильнее: не даром сычик подвизгивал по-щенячьи.

К моргающему фонарю, я такси и вызвал.

На старую Ярославку по раздолбанной дороге выезжали медленно. Вдруг фары на повороте высветили всех четверых. Ты с валторной в футляре шёл рядом со Свето-славом, сзади, взявшись за руки, пружинисто ступали паренёк-танцор и золотая рыбка.

Вдруг такси резко остановилось, пришлось минут на пятнадцать из машины выйти. Но сколько я не вставал на носки в полутьме разглядеть вас уже не мог.

- Готово, - крикнул в спину водитель, - едешь, едешь и вдруг, здравствуйте пожалуйста! Не гвоздь, а буквально костыль! Играючи пробил шину. Хорошо запаска была. И откуда эти сельские гвозди такие берут? Вот, смотрите!

- Из домов старинных тащат, - повертел я в руках находку, - можно себе возьму?
- Да сколько угодно. Ну, едем?

На повороте - неожиданная картина. Косо вставшая фура, рядом - столбом - Раб небесный, чуть в отдалении целующиеся плясун и золотая рыбка и ты, сидящий понуро на обочине. Фура размозжила футляр шути! И твой Ханс Хоер, уже вынутый из разломленного надвое футляра, превратился просто в позолоченный блин.

- Подождите меня пять минут, - сказал я водителю, протягивая тысячную.
- За ваш счёт – хоть всю жизнь.

В полутьме меня не заметили. Сперва я присел рядом с придорожным кустом, потом, перебежав на полусогнутых Ярославку, спрятался в метрах в пятнадцати от вас за щит наземной рекламы.

Ты всё сидел. Подошёл Раб небесный, стал с тобой говорить. Когда не было машин, - а их в тот четверговый вечер было немного, - слова были слышны отчётливо.

- ... новую тебе закажем. Митя Сукно оплатит! Он по временам добрый бывает. Тебе какая фирма нравится?

Я скорей догадался, чем увидел-услышал: ты всхлипываешь, но сквозь всхлипы - улыбаешься.

- «Holton». «Ямаха» ещё...

От наименований этих ты взбодрился, встал. Раб небесный вытащил из кармана продуктовый пакет, вы вместе кое-как втиснули туда расплюснутую валторну, теперь похожую на медный сверкающий таз, и все вчетвером двинулись по направлению к Сергиеву Посаду.

Я снова перебежал Ярославку, сказал водителю, чтобы развернулся и медленно ехал по направлению к Посаду. Пока шофёр разворачивался, пропуская летящие на скорости машины, вы успели отойти прилично.

Мне подумалось: подхвачу вас по дороге, зайдём в кафешку, угощу, поговорим о протяжённости звука в пространстве. Но внезапно вы остановились. Верней коротким рубленным жестом остановил всех ты и, мигом взобравшись на небольшой придорожный холм, запел.

Я попросил таксиста подъехать как можно ближе и приоткрыл дверь.

Сперва ты подражал звуку валторны, но внезапно смолк. Потом, видно, установив-таки мысль в пространстве, начал петь по-английски и по-русски:

- *Day after day...* Пауза. *День за днём... alone on a hill...* Пауза. *Один на горке стоит дурак... The man with the foolish grin...* Мысль его проста, но доходчива... Пауза... *И моя мысль проста. Я звуко-смысл. Мы идём в Черниговский скит. Там отдохнём, уснём. А потом... Молитва – действием! Молитва – звуком! Молитва – вещным словом!*

От радости я засмеялся и захлопнул дверцу.

- Давай в Москву.

- Здравсьте пожалуйста, а в Посад?

- Они сами на автобусе доберутся. Завтра, завтра в Скиту их найду обязательно!

ОСЕННЕЕ БЕЗУМИЕ ПТИЦ

Рассказ

Месяц звонкого молодого льда, ноябрь-полузимник, ноябрь-солнцеворот - добежал до середины. Валя Ёвшинский, ещё в школе прозванный Гнездарём и прозвище это на себе полжизни таскавший, шёл краем поселкового поля. Чуть вдали скрежетало шоссе. С утра никакой работы даже в бинокль не просматривалось. Её, работы - в последний год вообще было мало: общее безденежье, скупердяйство, пандемия, то, другое, третье...

Валя решил добрести краем поля до лесной опушки, подсобрать грибков, благо здесь, в мало-дачных местах они в ноябре ещё встречались: опята, вёшенки, иногда и подберёзовик проглянет.

Вдалеке порхнула птица. По чертежу полёта Валя тут же признал: чеглок!.. Птичья рать влекла его невероятно. Иной раз казалось: прежняя жизнь была лёгонькой, птичьей, хоть и наверняка короткой, навывлет простреленной. Сто раз Ёвшинский на себя ругался и зарекался думать о птицах. На несколько дней походы в магазин, хлопоты по хозяйству и звонки женщин, которые все до одной звали его гуляй-Валя – холостого Ёвшинского отвлекали. Но полностью забывал он про птиц, думая про себя самого.

- Сельский компьютерщик! Гуляй-Валя! Это ж надо ж такое! – закидывал он узколицую светло-русую голову и до белизны сжимал тонкие, но цепкие, едва ли не стальные пальцы.

После тридцати захотелось Вале оставить Москву и вернуться в Подмоскowie, «сесть на землю», «припасть к истокам». Мечтал стать лозознатцем, «бить» колодцы, рыть погребя, а пришлось заниматься тем же, что и после Бауманки: системными блоками, мышками-флэшками. Иногда это смешило, но в последний год чаще стало раздражать. После остро-режущего раздражения, воспоминания о птицах вспыхивали с новой силой.

Начинались воспоминания, обычно со сладкого и приятного: низкая, не слишком покатая крыша сарая, молоденький ястребок, лежавший на боку с чуть свесившимся вниз правым крылом. Был ястребок не ранен и не покалечен. Это Валя определил сразу. Чтобы насладиться прикосновением маховых птичьих перьев Валя бережно просунул одну ладонь под ястребка, а другой поправил ему крыло. Никакого птичьего сопротивления он не почувствовал. Тогда Ившинский чуть покачнул птицу на ладони. Был ястребок сильно длинней, но зато и уже Валиной, в те годы ещё не изрезанной мелким техническим ремонтом, ладони. Вдруг ястребок как продёрнутый электротоком встряхнулся, встал на лапки, резко вздрогнул и неожиданно – ошарашенный внезапно вернувшейся жизнью – свалился вниз. Не долетая до жухлой травы, заработал крыльями и полетел, шарахаясь из стороны в сторону, меж сараями к лесу.

Однако после воспоминаний приятных всегда начинались досадные, терзающие душу. Валя не давал себе закрыть глаза, пальцами раздвигал веки, мотал головой, слегка на месте подпрыгивал, махал руками. Правда, потом всё-таки глаза закрывал.

И всплывал в его непослушный мозг, первый и единственный пернатый хищник, застреленный лет пятнадцать назад. Был это малый сокол, по-иному кобчик.

По роскошным чашобам своих юношеских лесов Валя гулял тогда с ружьём и собакой. Ему только-только исполнилось восемнадцать, но он уже представлял себя завзятым охотником.

Первым же выстрелом он того кобчика с лесного кустарника снял, но найти не сумел. Не нашла его и беспородная серо-белая Найда, весело кувырковавшаяся в летней траве и понимавшая в охоте не сильней, чем хряк в апельсинах.

Сразу Валя птицу не нашёл, а через три-четыре дня, гуляя один, без Найды – за дурашливость и глупость посадил её на цепь – малого кобца обнаружил. И что интересно: совсем рядом с тем местом, где подстрелил.

Кроме белых некрупных, но страшно проворных червей, на кобца никто не польстился. Червей было так много, что Валя, думавший прикинуть, сколько же их на

самом деле, плюнул и побыстрей отступил в сторону. Но потом вернулся, захотел ещё раз глянуть на кобца, но вместо этого сел в новеньких своих серо-вельветовых джинсах прямо в траву.

Мёртвый кобец долго не шёл из головы. Воспоминания о червях и птице так допекли, что с восемнадцати лет Валя никогда больше не охотился.

Вспомнив про кобца, Ившинский остановился и про грибки-грибочки мечтать перестал. Да и чёрт ли в них теперь, в этих грибах! Ему вдруг представилось собственное, голое, покрытое гусиной кожей тело, ещё в детстве проткнутое пригородным шпанюком по прозвищу Ляма пониже печени велосипедной спицей. Потом вдруг, - и уже в который раз! - представилось: он - человек-птица. И при этом невыносимо похож на случайно попавшуюся интернетовскую картинку: сразу от локтевого сгиба расширились остропёрые крылья, на спине и на плечах шевелился нежный птичий пух, на пальцах рук выострились и удлиннились, а потом чуть загнулись когти, ноги стали тонкими цыпастыми лапками. И меж этих цыпок – грубо и медленно, как маятник-шар, начинал туда-сюда мотаться несоразмерно большой человеческий висюкан.

Валя и сам вдруг начинал раскачиваться, как маятник. Зацепившись за домашний турник, сперва вис на руках, потом, слегка чиркая о линолеум пятками, колыхал себя вперёд-назад, назад-вперёд. Тут руки мягко с турника обрывались, но Валя не падал кулём на пол, а закрыв глаза, продолжал качаться маятником, пока его потихоньку, как плотный кухонный чад, не выносило в приоткрытую дверь на улицу.

Полёт маятника в перьях был странен, дик: сильно шатало из стороны в сторону, но от земли далеко не отпускало. Боязливо разлепив веки, и уже безо всяких шатаний, низко над огородами, над невысоким штакетником, теплицами и проржавевшими коровьими цепями, то и дело мелькавшими на выпасах, плыл Валя за какой-то надобностью к затопленному водой песчаному карьере. Что было дальше - никогда не помнил. Помнил только манящий женский голос из карьера доносившийся. В страхе открывал он глаза. И враз погружался в простое человеческое блаженство: рано, рано ему ещё над землёй летать!

После заплыва над огородами, Валя всегда бежал к зеркалу. Мутненькое, оставшееся после матери трюмо, отражало всё, что угодно: взъерошенные волосы, нос любопытно-острый, близко посаженные глаза, накрепко сжатые губы, худое, правда, вполне накачанное и отнюдь не птичье тело. Но никаких перепончатых крыльев, никаких цыпастых лапок-ножек не было и в помине!

Стоя теперь на краю поля, Валя осмотрелся. Ни души, опять один.

От безлюдья, воспоминаний про интернетовскую человеко-птицу и съедаемого червями кобца, - Вале вдруг перехотелось жить. Напрочь, подчистую. Окончательно и бесповоротно!

Безрассудное желание кончить всё и сразу мощно поволокло к Новой Ярославке: ближе, ближе, прямо к асфальтовому, чуть влажному от утреннего дождя, ровно-широкому полотну.

Сердце Валино моталось из стороны в сторону и стучалось о рёбра: словно никак не могло усадить себя в седло крохотного, всю дорогу тарахтящего и невпопад дзенькающего мопеда.

Валя хотел было броситься под первую попавшуюся машину, но вдруг понял: под первую попавшуюся – нельзя, недопустимо. Нужно выждать, нужно выбрать подходящую! За рулём не должен быть старик – тот от наезда на человека может враз окочуриться. Не должно быть и молоденьких баб. Так завизжат - мёртвого разбудят. Бабы постарше? А, пожалуй. Но лучше бы кто-то из чинодралов, кто-нибудь из этой падали, «косящей» под художников или журналистов за рулём оказался. Таких Ившинский вычислял сразу, потому как одного похожего чинушу из Минцифры, вполне годящегося на роль давителя людей – с модно-нависшей чёлкой, с пятнистой, словно обсыпанной сахарной пудрой театральной бабочкой на шее – хорошо знал.

Лучше всего, конечно, гружёная фура. Та даже тормозить не станет. Или, по крайности, проехав сто-двести метров соскочат с подножек по очереди два дальнобоя, подойдут, глянут и дружно сплюнут: сам под колёса кинулся, дурак!

- Нет, ты видал, Петро?

- Канаем быстрее отсюда.

И всё, и в дальний путь, на долгие года.

Валя прищурился и ещё раз обвёл глазами дорогу. Он уже начал уставать, хотелось лечь на слегка примороженную траву, потом вернуться домой, легонько укунуть за ухо сидящую на цепи, - уже другую, но названную всё так же Найдой, - престарелую собаку.

При этом в сам дом, только наполовину отремонтированный, возвращаться не хотелось.

Глянув со вздохом на осенний лесок, пока ещё хранящий внутри себя плотный сгусток био-изменений, происходящих у всех дикорастущих деревьев в холодное время года, Валя задумался. Сперва про весь лес, потом про некоторые отдельные деревья.

Ничего, что сбросили листья! Опавшая листва снимает с дерева груз, даёт ему отдохнуть, подготовиться к зимней спячке, когда все жизненные процессы под корой –

даже сокодвижение - приостанавливаются. Без листьев деревья расходуют намного меньше воды, не скапливают на ветках снег. Лучше им осенью, лучше!

Так бы, кажется, и человеку: счистил с себя летнюю показуху, все эти загары-магары, смыл грязь, смазал на теле припухлости от укусов гнуса, выкинул на помойку тёмные очки и наносник от солнца – и вдыхай, втягивай в себя осень! Ан, нет! А почему? Неестественно стал жить человек. Так и учился бы у дерева уму-разуму.

«Сердце деревьев в их плодах», - сразу целой строкой подумалось Вале.

«Или умный рыхлый слой в центре древесного стебля всё-таки важнее плодов?»

Оглядывая лес, Валя снова увидел птицу. Зрение у него было острое, может даже, острее чем у пернатых. И с годами не тускнело, не гасло. Только слегка – по краям – выцветало, как бумажная картинка, пришпиленная к стене булавкой-невидимкой.

Птица не летела - барахталась и кувыркалась в воздухе, как пьяная. Запускала себя то вниз, то вверх, то опять - неуклюже – к земле, то сильно кренясь, шарахалась куда-то вбок.

- Коршунец, первогодок! - вслух определил Валя.

И снова задумался.

А коршун-первогодок всё продолжал ходить вверх-вниз, как сошедшая с ума рыже-бурая щётка с обломленной ручкой.

Тут Ившинский повёл головой и увидел другую птицу, а за ней и третью. Другая, и третья не летели - бежали к шоссе. Одна на бегу чуть взлетала. Другая, спотыкаясь, падая, кубарем скатывалась с небольших пригорков, словно умышленно выбирая их на своём пути.

«Чего это они?» - опешил Валя.

Коршунец, тем временем, упал камнем на землю.

Безотчётно подражая птицам, Валя и сам хотел было кинуться на землю, но коршунец почти тут же взлетел.

Теперь он уже не кувыркался, а зависнув в воздухе и отвернув голову в сторону, дёргал крыльями, распрямлял их, но никак не мог до конца распрямить.

- Шею сломаешь, обалдуй! - крикнул Валя, но коршунец его голоса не слышал.

Тогда Ившинский поднял с земли обломленную недавним ураганом ветку, чтобы шугануть тех двоих, что были уже рядом с шоссе, а заодно на замахе испугать коршуна.

Но вдруг словно застыл.

Приостановился, замер и весь мир, потому что Валя вспомнил: так же выворачивал шею, крутился и дёргал руками тронутый умом Никоша, который, несмотря на все предосторожности родни, как-то раз сломал-таки себе шею. Когда он её сломал и умер, –

Валя-девятиклассник ходил смотреть. Никошу прежнего - незлого, слюнявого - было жаль. А мёртвого его тела – совсем нет!

- Зачем ходил? - упрекала тогда ещё не окончательно слёгшая мать, - ишь, любопытный! Не смей раньше срока смерти в лицо заглядывать!

Валя встряхнулся, сделал несколько шагов вперёд.

- Не надо, блин! – крикнул Ившинский птицам и тут же швырнул веткой в подбегавших к шоссе пернатых.

- И тебе - на! - сдёрнул он с головы плотный, но по осени уже не греющий картуз и крутящейся тарелочкой запустил в коршунца.

Тот, краем глаза, наверняка картуз засёк, полёт чуть выровнял и неуклюже опустился на ветку ближней ольхи.

Остановились и две другие птицы. Одна быстро исчезла в траве, другая, взлетев и неравномерно вздымая-опуская крылья, поплыла мимо леса, на север, в сторону Торбеева озера.

Почему так подумалось – птица полетела к Торбееву – Валя не знал. Но при мысли о водной глади ему стало легче, лучше, даже подобие улыбки по губам скользнуло: вспомнилось давнее, незадачливо-смешное и, яшень пень, – невозвратное.

Он тогда поехал с Любкой-младшеклассницей кататься на лодке. Она сама позвала. Людке было лет двенадцать, и в четвёртом классе она сидела уже третий год. Но зато преуспела во всём остальном. Людка посадила Валю на вёсла, а сама сразу полезла к нему в штаны. Решив чуть привстать, пошатнулась, и кувырнулась в воду.

Была весна, холодно было. Когда, вынырнув, перевалил он не умеющую плавать Людку через борт, а потом причалил к берегу и попытался развести костёр, чтобы согреться - всё время смеялся.

А Людка, обижаясь, нервничала и без конца повторяла:

- Ты думаешь, я за этим? За этим? Дурак! Я просто спички у тебя в джинсах найти хотела. Закурить мне надо было!

- Ага, ага, - не переставая греться-смеяться, приговаривал Валя, - я ж и говорю, спички, блин, отсырели...

- Дурак, - окончательно определилась с тем, кто виноват в неожиданном купании шустрая младшеклассница, – ну и оставайся тут со своей лодкой!

Она молча отжала в кустах одежду и рысцой побежала на автобусную остановку...

Валя вдруг почувствовал: он стоит мокрый, как хлющ. Птицы безумные давно улетели. Мокрым стоять было неудобно, но жить опять захотелось.

Ившинский разделся, скинул куртку и рубаху, стянул майку, обтёрся ею. Потом майку, впитавшую в себя не только дрожь и пот, но, казалось и капли страха, затоптал ногой в неглубокую ямку, присыпал вырванной с корнем травой. После снова оделся и, дивясь остановленному именно им, Гнездарём, безумию птиц, пошёл спрашивать работы туда, куда раньше идти никогда бы не решился: к лысому прорабу, в полностью построенный, но пока – Валя это знал точно - без налаженной компьютерной сети коттеджный посёлок.

По дороге вдруг понял: всё не так! Не он коршунца и двух бегущих по земле птиц остановил. Остановил тот, кто осенним безумием птиц и руководил, кто разумней человека.

«Высший разум? Высший анти-разум?» - спросил себя Валя.

Отвечать себе он не стал. Но поправки во вновь открывшуюся страницу жизни, заполненную письменами и неясными закорючками - наподобие глаголицы - внёс. Были поправки косвенными, но необходимо-нужными. Основная поправка была такая:

«Мы, - как те птицы. Только крылышки нам пообрёзали. Или они сами, пока мы друг друга век за веком мочили, отсохли и обломились. Вот и маемся теперь в получеловеческом виде. Потому как полный человек – это человек с двумя видимыми или невидимыми крыльями!»

Смутившись от таких ненужных в подмосковной глухомани крамольных мыслей, Валя постарался скорей их забыть.

От неприсутствия мыслей, не только в голове, но и на сердце посветлело.

Правда, длилось отсутствие мыслей недолго. Пришла нежданная весёлость, привела как голую бабу за руку, наслаждение от незряшных слов...

Стало ясно: это сами пернатые от внешнего толчка и какой-то порядочной встряски, вдруг вернули себе острый птичий разумок! Заодно и ему, Вале, кой-чего вернули. Не дешёвое и быстро выветриваемое базарное здравомыслие вернули, а разумную душу, шевелящуюся где-то чуть пониже яремной ямки.

Остановившись, Валя приложил к обеим ключицам два свежесорванных калиновых листа. Сразу и мысли побежали попроще.

«Осеннее безумие птиц мне разум вернуло? Вернуло! Значит, всё наоборот! Это не люди птицам, а птицы людям для примера и подражания посланы. А если даже не для примера, то уж точно для услаждения: глянул на птиц – водка и бабы побоку»!

УЛИЦА ЛУЧИСТЫХ ВОД

Рассказ

I.

Историю про Савву Мамонтова и его любовницу Жужу впервые услышал я в 1993 году, в последних числах сентября. В купе скорого поезда обрывисто и неполно изложил её паренёк по имени Костя, посланный проводить меня из Казани до Москвы и сильно смахивавший на не слишком опытного сотрудника Федеральной службы контрразведки (так тогда именовали ФСБ).

В двухместном чистом купе, Костя постоянно пытался выдернуть меня, - как тонкой леской выдёргивали когда-то давно пробку, провалившуюся на дно бордосской бутылки, - из глухого молчания. Москву провожатый мой любил и смеялся от радости, чувствуя её неотступное притяжение. Что касается Казани, Костя, по его же словам, находился там в двухлетней ссылке, а меня его послали проводить хорошие люди, которых в этом старинном городе над Волгой очень много.

Сам я уезжал из Казани, после трёхчасовой беседы с тогдашним Президентом республики, внимательным и добрейшим Минтимером Шариповичем со смутными надеждами на более-менее благоприятный исход того памятного года. Тогда я не знал: острое и необычное интервью с главой Татарстана, записанное на диктофон, «снятое» ночью с плёнки и бережно обрамленное пятью-шестью зарисовками с натуры, в «Литературной газете», где тогда трудился, выкинут в корзину, а общероссийские события уже через неделю повернутся ко всем нам не лучшей своей стороной.

В честь встречи Минтимер Шарипович подарил мне именные часы с крылатым барсом на циферблате. Увидев их у меня на руке, Костя про Московский зоопарк, в котором по его словам похожий барс обитал – и заговорил.

- Да что зоопарк! Дамочка у вас в Москве одна химерная недавно явилась, - Костя словно подбросил и поймал на ладонь крупное яблоко, - то есть, разговоры про неё аж с 905 года шли, но потом вдруг усохли, - внезапно понизил он голос, - теперь, болтают, такого же, правда, без крылышек барса она ночами по Кузнецкому на цепи водит... Жужу ту дамочку кличут. Газетчиков, особенно молоденьких, на Мосту она подстерегает. Заманит в подворотню, чулок на шее затянет – и кирдык сердешному! Врут, конечно. Но всё равно. Ты хоть и не молоденький, а газетчик. Так что ночью на Кузнецкий – ни-ни!

- Писатель я.

- Ладно, не серчай. Я здесь, в Казани, от московских химер, как мишка от мёда, отлип. Всё у нас, реально, Боряня, всё!... Выпьем по глотку?

Я отказался, хотя выпить хотелось.

- Эх ты! Ну, тогда хоть споём. И петь не будешь? Тогда – стишок тебе на закуску:

Чтоб во всём имелась мера –

Голосуй за Минтимера...

Широко зевнув, Костя стал устраиваться на ночь.

Кузнецкий мост напомнил о себе на следующий день после расстрела Белого дома, а точнее – «Дома Советов», как тогда это здание именовалось. 3 октября, накануне событий, я провёл во дворе Дома около трёх с половиной часов. И страшновато было, и морозец по коже пробегал, но всё ж таки пальбы по зданию кумулятивными снарядами, случившейся следующим днём, никак я не ожидал.

4-5 октября в редакции «Литературки» на втором и третьем этажах царило сдержанное ликование. Выше, на пятом - тягостно молчали. В те дни про поездку в Казань я вспомнил ещё и потому, что внезапно заговорил про Кузнецкий мост наш сотрудник, бражник, игрок и дармодей Витя Тхэ, фамилию которого давно и прочно переделали на корейский лад из-за отёчных подглазий и красных костяшек-кентосов на кистях рук.

Я разговор поддержал. Рассказал про даму с ручным барсом. Витя Тхэ про неё слышал, но уверял, что появляется дама редко и на поводке водит не барса, а рысь.

- А давай, сегодня стрёлки на весёленькое переведём? Ну, как будто не было никакой пальбы. Чё носом хлюпешь? Людей, конечно, жалко, но веселье жизни, оно вперёд стремится! – уговаривал Витя, - побёгли вечером на Кузнецкий?..

Целый день занимался я утомительными рецензиями, а к вечеру полез искать сведения про Савву Морозова. Интересен мне он был вдвойне: не раз и не два, работая в 80-х в ДК МЗАЛ, впритирку с Рогожским кладбищем, приходил я сам знаю зачем на могилу к Савве Тимофеевичу. Жизнь его, конечно, в общих чертах знал. Знал, что большевики буквально высасывали из него деньги. Про пожар в построенном после долгих судов и тяжб ресторане «Метрополь» - тоже знал. А вот что тогда выпало из внимания, так это история с Жужу.

В тот вечер, не без труда, а нашёл-таки я свидетельства того, что Савва не застрелился, а был убит. Указывало на это одно из задокументированных сообщений полиции города Канн: калибр пули, извлечённой из тела покойного, не соответствовал револьверу, валявшемуся рядом с трупом в отеле «Роуйяль». Нельзя было пройти и мимо утверждений законной морозовской жены Зинаиды Григорьевны: «Услышав выстрел, я на

минуту замерла, а когда вбежала в комнату, - увидела: в распахнутое окно выскочил мужчина».

О возможном убийстве, в организации которого уже тогда обвиняли Льва Красина, руководителя боевой группы партии большевиков, говорит и подозрительная предсмертная записка, написанная по заключению экспертов самим Саввой, но – как было сказано - «упрощённым» почерком. И, наконец, финансовая составляющая: перед самой смертью Савва Тимофеевич застраховал свою жизнь на сто тысяч полновесных царских рублей. Страховое свидетельство "на предъявителя" передал красавице-актрисе Марии Андреевой вместе со своим письмом. Как позже стало известно: большая часть этих средств была передана в фонд большевистской партии. Но партия хотела денег больше, больше, хотела своих мануфактур, заводов, приносящих серьёзные доходы железных дорог...

«Ну, а Жужу-то всё-таки здесь каким боком?» Тут и показалась: Жужу прекрасно вписывалась в «морозовские странности», о которых говорили родственники Саввы, имея в виду не только его самого, но и других представителей третьего поколения Морозовых.

На Кузнецкий поехали ближе к ночи. В такси, Витя Тхэ всё дудел и дудел в ухо, готовя меня и себя к возможной встрече:

- ... а чё? Молодая, и глаза дымкой подёрнуты. Ну, говорят, слегка вульгарная. Так, ведь большинство женщин при ловле мужиков вульгарными становятся. Только она ведь, - вёл и вёл собеседник, - не просто услад ищет! Она, лярва, книжные лотки, шутя, переворачивает, на людей с газетками рысь науськивает.

- Ты б лучше детали какие про Жужу вспомнил.

- Так ты про неё ничего не знаешь?

- Ну, помню в общих чертах: родом из Франции, была модисткой, потом манекенщицей, работала в Доме мод. Дальше какая-то история с Саввой у них вышла. А какая – запаматовал. И вроде весной, в мае, над кладбищем душа её фосфорецирует...

- Не над кладбищем, а на Кузнецком. И не только в мае, но и осенью. Одни говорят, осенью они с Саввой познакомилась. Другие, - осеннее настроение этой красавице было свойственно. Может, потому и форта у неё в жизни не было. А потом вдруг счастье – р-раз – и улыбнулось! Влюбился в эту Жужукалу ведь не кто-нибудь, а мануфактур-советник, владелец хлопковых полей в Туркестане и упёртый растратчик денег Савва Тимофеич. Причём завязавший меж ними романчик оказался штукой серьёзной! А чё? Даже пожениться собирались. Но тут Савва по торговым делам в Париж отбыл. А Жужу на время в Москве оставил. Может статься, к будущей свадьбе готовится. Знала, конечно, раскрасавица-швея, что начались у Саввы серьёзные финансовые

трудности. Но понадеялась на «морозовскую» удачу. В общем, Савва отбыл, а Жужукала через некоторое время, свежим майским утречком ехала в экипаже по Кузнецкому.

Наверняка домами любовалась, на вывеску «Царское мыло» пялилась. Вдруг – мальчик-газетчик заорал рядом, как резаный:

- Пак-к-купайте газету! Спешите знать! Господин Савва Морозов застрелился! Во французских Каннах!

Такси остановилось, мы вышли. Витя продолжал тараторить:

- Тут Жужукала, конечно, вскрикнула и, пытаясь остановить экипаж, привстала. Потом, наклонясь, стала колотить извозчика по спине кулачками. Тот остановил экипаж. Она крикнула мальчишке: «Подойди!» И не дожидаясь, пока тот подбежит, прыгнула на тротуар. А в это время с высшей точки Кузнецкого моста от Рождественки вниз неслась карета какого-то важнецкого чиновника. Кучер не сдержал лошадей, карета сбила Жужу, раздробила ей грудную клетку, переломала кости рук-ног... Но лицо с острым носом и круглыми кукольными щёчками нетронутым осталось. По словам свидетеля – ярость и гнев, на кукольном личике, как на прянике отпечатались. В общем, свезли Жужукалу в больницу. Но травмы были тяжелые, через час она умерла. И в тот же вечер в подворотне, рядом с теперешним магазином «Подписных изданий», какой-то мастеровой наткнулся на тело худущего подростка. Шею мальчика обвивал чёрный роскошный, с тончайшим кружевами и невероятно дорогой женский чулок. Как потом выяснили в полицейской части: именно этот щуплый, но донельзя крикливый подросток так и не успел утром продать газету красавице. Тогда же полицейская экспертиза, притянув к дознанию одну из подруг Жужу, установила: чулок, принадлежал манекенщице! Вот только сама она на момент смерти подростка-газетчика уже несколько часов как лежала в мертвецкой. А чё? Прямо – кино! В общем, с того вечера Жужу начала охоту на всех, кто имеет отношение к печатному слову. Особенно журналюг невзлюбила. Нет-нет, да и вычислит кого-нибудь на улице. Тогда и находят недалеко от места ее гибели очередную жертву с чулком на шее...

Мягко, как огромное дерево, шевельнул ветвями разлапистый вечер. Рядом с Домом художника, комендантский патруль проверял документы у какой-то парочки. Людей на Кузнецком можно было по пальцам перечесть: после событий 4 октября многие старались сидеть по домам. А тут ещё и свет пригас.

- Небось, авария... – поёжился Витя. – И нету чё-то никого.

- А вон, глянь: вроде кто-то к стене прилепился.

Послышался лёгкий кашель, потом смех. От стены отделилась дама в легком для осени плаще и чуть взблёскивающей летней косыночке. У ног дамы что-то шевелилось. Наклонившись, она шевелящийся ком погладила. Вглядываясь, мы приостановились.

Не барс, не барс! Короткотелая рысь, на длинных подиумных ногах ласковой кошкой выгибалась у ног дамы! Ни слова не говоря, Витя Тхэ кинулся вниз, к Неглинке, и там, в темноте, растворился. Я оглянулся. Патруль ушёл к метро, редкие прохожие были едва видны. Мигом припомнил я всё слышанное про Жужу, но при этом даже не пошевелился. И любопытство здесь было не при чём: просто ноги к земле приросли.

- Журналист? – с хрипотцой спросила дама.

- Писатель.

- Один чёрт.

- Да нет. Разные это профессии.

- Молчи, терпила!

Вопреки охриплости, стало ясно: не дама, - молодая девушка из провинциалок гуляет по Кузнецкому! Лёгкое оканье, слышавшееся в её речи, успокоило. Хотя с плеча и свисал, как и полагалось, длинный, в слабых отсветах развратно розовеющий, чулок.

Вдруг модистка сунула свободную от поводка руку в карман плаща, выхватила нож. Но тут же его и спрятала, отступила к стене, ловко накинув и обернув несколько раз поводок вокруг дверной ручки какого-то парадного. Сделав несколько шагов вперёд, ухватила меня, как школьника, за ухо. От неожиданности я попятился. Продолжая держаться за ухо, Жужу едва не упала. Рука её была тёплая, даже горячая. Над верхней губкой бисером выступили капли пота.

Внезапно девушка с чулком хихикнула. Тут, наконец, до меня дошло.

- Актёрствуешь, дура? Рольку разучиваешь? – с каждым словом всё больше свирепея, крикнул я.

Жужу-актриска вдруг сникла. А рысь, наоборот, натянула поводок и неодобрительно замяукала, вернее, издала несколько ноюще-нервных звуков, схожих с «э-эй!» или «а-ай!». Вслед за привязанной рысью собралась с духом и актриска.

- Плохо мне роль эта удаётся. Не говори никому, а то попрут меня из нашего Мюзик-холла.

- Что ещё за Мюзик-холл такой?

- Подземный. Эротический... Если полностью – ПМЭиК: «Подземный мюзик-холл эротики и каверз». Хочешь, проведу тебя на сегодняшний спектакль? Бесплатно! Только проведу я тебя за шкуру, как пойманную жертву. В общем, рассекретил ты меня, чмошник: пользуйся!

– Ну и что ты там под землёй поёшь?

- Да не пою я и не пляшу. Плётки, наручники, кандалы ручные и ножные выношу на сцену. Попытки-то у нас в подземном Мюзик-холле - всамделишные. А по краям -

настоящий балет! Чтоб ты понял: окружаем жестокость красотой. А какой балет – классический или современный – это каждый раз Лавруша решает, что ему шибче в этот момент нравится.

- Лавруша – это имя или фамилия? И откуда в центре Москвы пытки?

- Так время нынче пытошное. Так Лавруша говорит. Вообще-то зовут его Лаврентий Палыч. Как Берию. Вот он и придумал себе... как это... А, вот! Новым воплощением Берии стать. А натолкнул Лаврушу на такие мысли один дом. Тут ведь рядом всё места пытошные. Недалеко – бывшая Тайная канцелярия, которой заведовал этот, как же его Ше.. Ши...Тьфу, чёрт! Никак не вспомню фамилии. Ну, пошли? Не бздо, чмошник!

Она вернулась к двери, отвязала рысь, укоротила поводок.

Тут фамилию вспомнил я. «Ну, конечно! Шешковский! И Тайная канцелярия где-то рядом тут была... Вроде сейчас в доме том милицейская контора какая-то. ГАИ, что ли?»

Пока я вспоминал про Шешковского, мнимая Жужу, продолжала нести околесицу, в которой попадались «вкусные», хоть и ранящие нёбо соринки новостей:

- ... у нас же не просто берут – и пытаются! А пыткой стараются освободить челоупа. Челоупами Лавруша вас, козлов пупкастых, называет. Идём! И рядом совсем. Мне за каждого нового клиента премию выписывают. А за нескольких – тринадцатую зарплату! Флигель рядом, ближе к Неглинке, во дворе у князя Гагарина. Там подвал потрясный, и места много. Сам Ленин в нашем флигеле, фоткался. Он ведь тоже освобождал челоупов через жестокость.

- Так вы - ленинисты?

- Не-а. Мы сами по себе: «лаврушинские»!

- И что за чушь про освобождение через пытки ты тут порешь?

- Освобождение через пытку - это от советского рабства освобождение. И син... син... символизирует оно, - не без труда выговорила Жужу, - новую жисть. Потому нас и не закрывают. Новая жисть, она всем по кайфу!

- Так вы в подвале «новую жисть» строите? А я думал, новую жизнь пальбой по Дому Правительства уже наполовину построили.

- Вообще-то основная моя роль: на улице прохожих пугать, легенду про Жужу и Савву Тимофеича изо всех сил раздувать. Быстро и «с уловом» назад возвращаться. Только вот рысь наша дрессированная ни за что в ленинский флигелёк возвращаться не желает. Так и норовит, стерва, на фонарь вскочить, а оттуда кому-нибудь на загривок. Едва удерживаю!

Здесь из полутьмы вынырнул Витя Тхэ. Глазки его косенькие задорно сверкали. Сторонясь рыси, Витя обошёл зверя слева, и заговорил на своём вычурном народно-репортёрском наречии, которое выработал за долгие годы скитаний по дешёвым московским кабакам:

- Ты гля, как она заговорила! А меня ноги сами наверх, к метрухесу понесли. А чё? Так бывает. Несут меня ноженьки, несут меня ватные... Вижу, вижу: не призрачная она! Ну, тогда я домой пополз.

- Погоди, а как же я?

- А ты тут оставайся, она ведь на тебя, а не на меня глаз положила.

Витя Тхэ ушёл. Я, растерявшись, остался. Домой в Подмоскowie, было уже не доехать. Нужно было добираться к сестре или в общежитие Литинститута, где меня поселили как студента Высших литературных курсов.

- Ладно, - решил я, - идём, послушаем ваш пыточный мюзикл.

В подвале ленинского флигелька мне сразу предложили раздеться до трусов и натянуть на себя холщовый костюм с галунами. Мнимая Жужу сразу исчезла, рысь привязали в прихожей к рогатой вешалке.

Я заупрямился:

- Холодно тут у вас. И вообще...

- Ничё, скоро жарко будет!

Привратник – маленький, кубоголовый, бурощёкий, с луковичкой белых волос на затылке - стал на себе показывать, как быстрее раздеться и куда кинуть штаны с курткой. Тут рысь, оборвав поводок, вскочила на рогатую вешалку, на ней покачнулась и кинулась сверху на плечи привратнику.

- Сучка, н-на меня... н-на хозяина! - хрипел атакованный зверем.

Стало ясно: это и есть хозяин Лавруша, выдававший себя зачем-то за привратника. Рысь не без труда отодрала, заперла в кладовке. Лавруша бился на полу в крови и судорогах. Стеной стоял тяжкий запах мочи и крови. Кто-то из челоупов - в салатовой майке и пижамных штанцах - хотел было вызвать скорую. С криками: «У нас свой дохтур!» - челоупа вытурили из прихожей.

Стоны Лавруши, рысий подмяук: «э-эх», «аа-х», смрад палёных советских купюр, которыми подсвечивали темноватый угол, когда отдирали рысь от хозяина, словом, разор и печаль этого вечера, похоже, стали продолжением недавнего расстрела Дома Правительства. Разор этот, словно бы говорил словами провожатого Кости: «Вот она, Боряня, твоя новая жизнь, и лучше уже не будет».

Вдруг кто-то в костюме французского моряка 19 века - тарелочная шляпа, серый громадный бант, раздвинутый вширь красный пояс – подошёл и встал прямо передо мной. Ни слова не говоря, поманил за собой пальцем.

Вошли в обставленный по-старинному кабинет.

- Ну и где сцена, где ваш подземный мюзикл?

Моряк, хвастливо блеснув камзольными пуговицами, беззвучно зашлёпал рыбьими губами, показывая рукой в сторону противоположную двери, через которую мы вошли.

Моряк ушёл, я стал вглядываться в тёмные углы. В самом дальнем, - обнаружил скорчившегося Витю. Кок его панковский опал, косые глазки слезились.

- Они меня поймали, стали орать: ты нашу актрису напугал, с тебя оброк! Оброк, правда, взяли, посильный. Провели чёрным ходом, скоты...

Вошедший лакей в ливрее навыворот (видны были грубые швы) просто и буднично объявил:

- Степан Иванович Шешковский.

Тут же в старинный кабинет вступил человек в полосатом костюме и мужских лососёво-розовых балетных пуантах.

- Я, конечно, только танцор, - стал глухим басом отливать слово за словом Шешковский, - но глядя на вас двоих – просто сатанею! Остановили нашу девочку. Стали её журналистскими корочками пугать. Хорошо она у нас смирная, а могла бы пысь с поводка спустить.

- Какую пысь?

- Ну, рысь, рысь, буквы иногда я путаю.

- Ладно, поймали, так начинайте представление! Меня начала разъедать злость.

- Ты, олень, тут не командуй. Без тебя знаем, что и как. У нас освобождение сознания через пытку! Усёк? Ну, то-то же. Прочту акафист «Иисусу сладчайшему», по рюмке шартрезу – и в путь! В добрый и долгий путь испытаний посредством пытки! – Аж зашёлся танцор в пуантах, - пейте и потопали. Да не бойсь, братва, - не отрав. Трупы пытать нет никакого удовольствия.

Помещение, в которое мы попали, было куда просторнее и напоминало зал. А главное, было в нём светлее. Я внимательно присмотрелся к танцору и похолодел: в парике он был похож на Шешковского невероятно! «Один в один», - как сказал бы Витя Тхэ, если б к тому часу мог ещё шевелить языком...

- Мюзикл наш называется: «Неглинка - мёртвая река»!

Зашелестела музыка, стукнул дважды барабан, зелёная бурда ударила в голову. Потом всё стихло. Витя Тхэ, как слепой, ощупал руками кресло, упал в него и уснул.

Вдруг наверху что-то треснуло, вроде шумовая граната разорвалась. Потом донеслось какое-то грюканье. Постепенно стук-грюк усилился.

Тут за спиной проклюнулся сладко-писклявый голос.

- ... белодомовцев ищут. Вас, дураков, вместо них и сдадут!

Я стал тормозить Витю, голоса усилились.

Вдруг погас общий свет, но сразу заскакал по стенкам ручной фонарик. А вослед ему засвербел, заныл в ушах тот же писклявый голос:

- Выведу за небольшую плату. Пособлю! Я ить кто? Я потомственный лакей. Лакей Лакеич меня зовут здесь. А мать – та сильно ласковой звала: Лакеюшка. У меня это в генах – выводить нежелательных людей тайными ходами. Я ведь не просто лакействую, а со смыслом. Ну, и с выгодой, ясен перец. Так что, шевелись, голота!

- Как я в этой шутовской рванине на улицу выйду? Сразу прихватят.

- Лады, держи костюмчик, - Лакеюшка щёлкнул замком, выдернул из шкафа свёрток, швырнул в меня. Свёрток в полёте раскрылся. В нём - костюмная пара.

Пока трещали с трудом натягиваемые брюки, Лакей Лакеич продолжал ласкать словами:

- Когда-то дворовый энтот флигель был отдан под ательё. Справным фотограмм отдан: Рихтеру, Тиле и Опицу. Потом здесь литографскую и типографию открыли. А владел всем никому не известный мужчина по фамилии Бахман. Энти типографы старинный ход и обнаружили, когда захотели нелегальную литературу тайком от жандармов вынести.

- Они хоть какое-то дело делали! А вы тут фигнёй всякой занялись.

Лакеюшка пожал плечами, и мне снова показалось: подлинный хозяева этого пыточного мюзик-холла – лакей и привратник.

- ... мы пытаемся сплясать, то чего нельзя увидеть, - стал внезапно оправдываться Лакеюшка, - только слабо получается! И не получится до тех пор, пока то, чего нельзя увидеть станет приманивать не одних слабых, а и сильных людей.

- Вот-вот. На спекуляции этим самым незримым, ты и зарабатываешь.

- А чего? И зарабатываю, и лакействую. Порода моя такая. Приспособился я. Выживает ведь кто? Думаешь самый сильный? Самый умный? Фигушки! Выживает - приспособившийся.

- Или тот, кто от всего откупиться смог, – вдруг булькнул Витя.

- Ладно, бежим! Застукают! Хлебом меня не корми, а дай под носом у властей кого-то к чертям спроводить.

- А Жужу... Она где? – спросил я, на бегу задохнувшись, Лакеюшку.

- Где, где... На адской сковороде! Это она, курва, позвонила в милицию: мол, белодомовцы тут прячутся. Чтобы Лавруше отмстить позвонила. Допёк он её... Короче, деньги есть?

Остановившись, я вынул и отдал, что было.

- Мало, - сказал Лакеюшка, - часы хоть есть? Иначе сдам тебя патрулю с потрохами. Ну-ка заверни рукав.

Посветив на часы с крылатым барсом, Лакеюшка их почему-то не взял, зато с удовольствием сдёрнул с шеи серебряный крест на цепочке.

- Ладно, валим. Из флигеля и третий выход есть. Господин Ульянов, говорят, им пользовался.

- Врут... паршивцы, - крикнул, тяжело дыша, Витя.

Через несколько секунд стали мы по очереди заползать в подземный ход.

II.

Стылые воды журналистики, горько-солёные воды прозы... Они текли, текут, бьют фонтанами, льют ливня, хлещут и катятся по моему лицу и телу: сверху вниз, снизу вверх. От удовольствия, смешанного с отвращением, выставляю лопаточкой свой язык, ловлю их, глотаю, плююсь ими и глотаю вновь. Вместе с этими водами прорвалась и сквозь меня ухнула в пропасть четвёртая часть века. 25, 25, нужно всё начать опять?..

Все эти годы Кузнецкий мост старался я обходить стороной. На Неглинную улицу, к Русскому ПЕН-центру, где часто в последние годы бывал, добирался через Трубу или Рождественку, от неё по крутому Сандуновскому переулку спускался вниз. Зимой было неудобно, опасно даже.

Однако нынешней осенью, жутко торопясь, несколько раз подряд спускался я на Неглинку именно по Кузнецкому.

Вот и в тот вечер, спеша, ступил я на волшебнo сияющий Мост.

Вдруг мелькнуло знакомое лицо. Меня взяла оторопь. Она? Мнимая Жужу? Постаревшая, но всё ещё прекрасная.

Жужу быстро скрылась за углом дома, выходящего углом на Неглинку и Кузнецкий. Несмотря на полное отсутствие свободного времени, повернул я невольно за модисткой. Однако дама в долгополом плаще и в косыночке серебряной тут же исчезла. Остановившись, стал я вертеть головой туда-сюда, потоптался минут пять у ирландского паба и уже собрался уходить, когда выдернулась из малозаметной двери тонюсенькая японка, в каких-то цветных лоскутах от шеи до пят, и осторожно взяла меня за руку:

- Идёмте! Да идёмте же! Сюзи-кидзё ждёт вас.

- Что ещё за кидзё? Это Жужу! Я её узнал!

- Кидзё - по-японски "госпожа". Это очень везливое обращение к даме. Сюзи-кидзё вас ещё месяц назад заприметила, и теперь здёт не дождётся, - восторженно затараторила японка.

- Где ждёт?

- Очень рядом, тут на Неглинке. Очень недалко отсюда.

- Очень-очень?

В ответ японка радостно рассмеялась.

Тусклый бутылочный блеск. Незримые воды Неглинки тихо и трепетно журчащие где-то рядом. Забранная в трубу река, лёгкой звенящей болью струющаяся в бетонной трубе... Подвал, благодаря уничтоженной стене каменного дома старой кладки - соединившийся с подземным коллектором.

В этот подземный «мешок», напоминающий цыганский, виденный в детстве шатёр, застеленный красно-синими одеялами и завешенный пологом, отделяющим спальное место от остального пространства, японка в цветных лоскутах меня и завела.

Не ведьма и не Баба Яга! Чудовищно-прекрасное сорокалетнее пугалище, уже не в косыночке, а в шляпке позапрошлого века, глянуло на меня!

Жужу предупредила сразу:

- Ты отсюда не выйдешь! Не прощу тебя никогда.

- В твоих бедах моей вины нет. Это ты хотела меня ельцинским архаровцам сдать.

- Ты просто не хочешь вину свою признать! Почему не разыскал меня? Ну, избил бы за моё коварство, ну сломал бы палец или даже руку! Потом помирились бы.

- А ты мне кто была? Жена, любовница? Мы с тобой час всего были знакомы.

- Мне и часа этого хватило. А сдала я вас двоих, чтоб тебя помуржили как след, а потом прямо ко мне в руки и выпустили.

- Дура! Тогда всякое могло случиться. Люди пропадали? Пропадали. И я бы пропал с концами. Ладно, если тебе так легче, — могу себя виноватым признать. Каждый человек перед другим в чём-нибудь да виноват.

Дальше всё пошло как в мюзикле. Жужу вдруг начала — и очень неплохо - танцевать. Она танцевала и громко пела какую-то восточную мелодию. Хлюпающая вода, странные отголоски: то ли эхо, то ли причмокивание отводных труб дикий танец её сопровождали.

Наконец остановившись, она спросила:

- Ну и чем я хуже тех, кто наверху? А ведь вынуждена скрываться.

- От кого теперь скрываться? Перестань чудить!

- А ты ещё не понял?

- Нет.

- От всё тех же пыточных дел мастеров. Вот от кого. Да ты и сам их скоро увидишь.

И не фиг на меня пялиться, как на сдвинутую. Я здесь круглый год не живу. Просто иногда спускаюсь, молодость подземную вспомнить.

- А японку зачем из себя корчишь? Ты в цветных этих одеялах больше на цыганку смахиваешь.

- Не японка, точно. И не цыганка. Это всё для отвода глаз. Тихо хожу и дышу через кожу. Потому как панцирь на мне от жизни тяжкой вырос.

- А тогда чего тебе в панцире бояться? – попробовал я отшутиться.

Сьюзи-кидзё шутку не оценила:

- Жизни неудачливой своей боюсь. Вот новый подземный мюзик-холл потихоньку и хочу тут устроить за свои же денежки. Но, чую, и это мне надоест! Ищу, ищу виноватых в своей искалеченной жизни. Двоих уже нашла: один садист, другой духовидец - чтоб ему провалиться. Вот и тебя, любитель призраков, сцапала! Так что наверх тебе ходу нет...

Вдруг – совсем как четверть века назад - раздались неясные голоса. И недалеко вроде.

- Беги, узнай, кто там, - крикнула Жужу подглядывавшей за нами через дырку в пологе послушной японке.

Та кинулась выполнять. А уже через минуту появились росгвардейцы. За ними - два врача в халатах и несколько санобработчиков в скафандрах и высоких болотных сапогах.

- И здесь ковидище меня уцепил, - скривилась Жужу и вдруг (я сперва подумал, притворно) замертво упала на цветастую постель.

Впереди росгвардейцев шёл командир, без маски, в подполковничьих погонах. Узнал его я сразу. Он тоже стал внимательно в меня вглядываться, но быстро перекинулся на Сьюзи-кидзё. Потом неожиданно от неё оторвался и крикнул, перекрывая шум подземных вод:

- Скорый Казань-Москва, сентябрь 93-го? Да?

Я коротко ответил «да» и отступил за каменный выступ. «Костя. Провожатый. Видно, осел-таки в Москве».

- Ладно, с тобой разберёмся позже! – снова крикнул Костя.

При этом глаза давнего попутчика недобро блеснули. А ещё повторил он свой давний жест: левой рукой подбросил и поймал в ладонь невидимое яблоко. «Как чью-то душу, поймал», - неожиданно стукнуло в висок. Пятясь, отошёл я за выступ стены, начал разглядываться по сторонам.

Невдалеке в каменной выгородке метушились подопечные Жужу. Про меня они забыли, быстро кидали в мешки какие-то тряпки, свёртки. Собрав необходимое, тихо-быстро за железной дверью сгинули. Девушка-японка заперла за ними дверь на ключ, выкинула его в воду и, как овца на закланье - мелко семена ножками - двинулась к своей Сьюзи-кидзё.

Потихоньку выглянул из-за каменного выступа и я. Врач в салатовом халате и куртке поверх него проверил у Жужу пульс, потом завернул ей веко. Внятно донеслись до меня и слова доктора, тоже снявшего маску:

- Такое впечатление, будто она уже лет пятнадцать, как умерла. Тело – на ощупь 14-16 градусов, - хмыкнул доктор, - как у тихоходки какой-нибудь.

- Что ещё за тихоходки? - недовольно буркнул Костя-подполковник.

- Такие, знаете ли, существа удивительные. И *tardigardo*, по-научному. В Северном Ледовитом океане, на хребтах Кара-Корума, в Саргассовом море, в пустыне Такла-Макан - всюду жить могут! Сверху тело их защищено жестким панцирем. Во рту — тройной стилет, которым тардигарда прокалывает оболочку червей или водорослей, чтобы высосать содержимое. Дышат - через кожу. Вместо крови - заполняющая тело жидкость, в которой плавают всякие-разные клетки. В них - запас питательных веществ. Может, такие тихоходки – это мы с вами в будущем? Дышите через кожу, товарищ подполковник. Триста лет проживёте.

- Давайте побыстрей закончим, доктор! Не место здесь разговоры разговаривать.

- Да вы дослушайте. Это важно. Да и очень уж, они, тихоходки, любопытны! В 1776 году итальянец Ладзаро Спалланцани заметил, что природа наградила тардиград способностью воскресать после смерти! Француз-исследователь Беккерель охлаждал их до – 273 градусов, и тихоходки оставались живыми. Человек, конечно, не тихоходка. Но нам, врачам, недавно шепнули: в подземельях Москвы человеческие мутанты, сходные по качествам с тихоходками объявились. Скоро, скоро мы с ними в экстазе сольёмся...

- Вздор! Чушь!

- Возможно... кгхм...возможно, - прокашлялся доктор, - аккуратненько несите её к выходу, - крикнул он санобработчикам.

Пятясь, отступил я ещё глубже. Всё больше отдаляясь от росгвардейцев, докторов, тихоходок, стал искать выход наверх, пытаюсь найти ту самую лестницу, по которой мы сюда спускались.

Вдруг страшная тяжесть навалилась на плечи: не хватало тут заблудиться!.. Стать тихоходкой?! Бр-р...

Но возвращаться и говорить с подполковником Костей о тяжком 1993 годе я просто не мог: чуял в этом скрытую, ещё более страшную для себя опасность!

III.

Вглядываясь в противоположную от росгвардейцев сторону, неожиданно увидел я мужика в серой хламиде. Крадучись, подобрался ближе.

Грубо вытесанный, с распухшими сластолюбивыми губами, крупными кистями рук и какими-то очень уж гибкими для огромного тела движениями, освещаемый встроенным в метростроевскую каску фонарём, был он похож на обыкновенного мужичару, то есть на охотника до баб.

Мужичара кидал в воду какую-то траву. Целая копна этой травы высилась у его ног. Издалека копна казалась сухой, только-только принесённой сверху. Даже духом степной полыни вроде повеяло. Но это, конечно, был обман. Откуда в Москве, под землёй, степная полынь?

Мужичара что-то тихо бормотал и время от времени взмахивал перед собой рукой, словно окуривал кого-то невидимым кадилом. Я подступил ближе. Вдали, уже вползвука, переговаривались с кем-то по рации росгвардейцы, слабо покрикивали санобработчики. Не слушая их, старался уловить я то, что бормотал мужичара в хламиде, кажется уставший махать пустой рукой и принявшийся через равные промежутки времени кидать в отгороженный от общего потока небольшой, круглый - метра два в сечении - каменный бассейн с водой, то сухую, то крупно-лепестковую синеватую траву, по виду напоминавшую щавель.

Поначалу слова его были неясны, но приложив к уху ладонь и раскрыв для лучшей слышимости рот, стал я кое-что разбирать:

- ... тихо, солдат нет и вечер.

Сладостна соль, пресна вода, едома радость.

Мёртвые воды под землёй неспешно текут.

Мёртвые - не означает дурные.

Крутится внутри себя колесом мёртвая вода –
 Рвёт пополам заразу.
 С мёртвой водой сливаются,
 Плывут полосами и не перемешиваются – воды живые:
 Горькие воды Мерры,
 Солоно-сладкие струи Валдая,
 Марциальная, кисло-солёная влага Севера...
 Завтра мёртвые воды станут живее жизни.
 Послезавтра уймут заразу.
 Через месяц, горько-кисло-солёные -
 Затянут страждущим ранки на губах и в гортани...
 Мёртво-живые воды уносят солдат, уносят заразу,
 Уплывают с ними маркитантки и обозные девки.
 Настаёт кристальный подземный вечер.
 Этот вечер, - как мерцающий свет:
 Неугасимо-вечный, безбоязненный, бессрочный...
 И опять, и снова:
 Сладостна соль, пресна вода, едома радость!
 Тихо, не страшно, солдат нет и вечер...

Мужичара бросил в отгороженный бассейн ещё несколько ветвистых стеблей полыни и решил отдохнуть. Но постояв чуть без дела, внезапно сказал, не оборачиваясь:

- Подойди. Пей. Хлебай, дурень, свою водную память! А то окончательно в памяти своей мелкой, где горобцу по яйца, утонул. За бабёшку умом зацепился! Лучше бы мать вспомнил...

Мужичара набрал воды, бьющей из железной трубы, вбитой в стену. Вся труба, была густо залеплена щавелем, обвешена веточками полыни. Вода – и в каменном отгороженном бассейне, и бьющая из стены - чуть заметно лучилась.

- Пей, не бойсь. Это светляки в воде мерцают-лучатся, воду лечат. Грибки по-вашему. Пей! Зараза любовная от тебя отхлынула, уплыла на юг и восток. Вернётся проморённой, лучащейся, чистой, как семнадцатилетняя танцорка. Скоро здесь всё мерцать-лучиться начнёт. Втянул в себя мерцание – и душа засветилась! А засветилась, - стало быть, душа другая скоро её отыщет.

Я выпил. Вода была горько-сладкой и помрачающе вкусной. Такую пил я лишь в детстве из новороссийского степного колодца, пробитого на глубину 110 метров.

Новая московская вода - отгороженная в каменном бассейне от грязи и липких жирно-потовых человеческих выделений – показалась неслыханным чудом, о котором больше и сказать-то нечего, кроме того, что пока можешь глотать - глотай, пока можешь выпускать через нос колкие, минерализованные пары – выпускай. Пей, пей свою глубинную память, очищая её мёртво-живой водой!

Думая про воды московские и про неизвестные мне горькие воды Мерры, полез я наверх по узкой железной лестнице. Но на полпути остановился. Прямо в голову из стены, тонкой струйкой, снова ударила в рот и в нос вода. Я поперхнулся. Вода достигла нёба, и я удивился её необычному стальному вкусу, вдруг уяснив: мёртвые воды под землёй оживают затем, чтобы холодом кипящей стали пережечь ковидную и любую другую дрянь!

В новом вкусе воды, почудилась мне обновлённая Неглинка и перерождённая Москва.

В этой чудодейственной Москве река-Неглинка текла через огромную, прозрачную, из огнеупорного стекла - равномерно скреплённого никелированными швами - трубу. По стенкам семиметровой в сечении трубы изгибался крепкими лозами, вздрагивал густой листвой виноград. Не дикий, а настоящий, ливийский, с полнокровными дымчато-розовыми кистями. Стояли по бокам водного потока маняще-удобные для тел человеческих скамейки, била вверх из малых круглых фонтанчиков, чуть продёрнутая голубизной, даже на вид целебная вода. Ручей Успенский Вражек вытекал из Неглинки и через другую, меньшего сечения стекло-трубу, устремлялся под землёй к Боровицкому холму. Труба, в которую был заперт Успенский Вражек, время от времени открывалась, как цилиндрический докторский саквояж, с откидной крышкой.

Вглядевшись, увидел я в реке и рыбу: сине- и краснопёрую, с плавниками обычными и плавниками веерными. Глаза у некоторых рыб чуть не выкатывались из орбит. Но не дурь или ожидание сковородки светилась в рыбьих глазах, а восторг долгой естественной жизни.

Бьющая из стены струйка давно иссякла, волосы мои подсохли, а я так и стоял, держась за ржавые прутья запасной лестницы, чувствуя, как на глаза наворачиваются непобедимо-радостные слёзы...

Через минуту-другую кое-как выбрался я наверх.

Кузнецкий мост на пересечении с Неглинной улицей, попыхивал сигаретками, посвечивал, отражая неон, мокрым булыжником.

Внизу, близ мерцающих горько-живительных вод, жизнь была иной, и показалась мне много лучшей, чем та, что голосила наверху.

Я прошёл по Кузнецкому вверх, а потом опять спустился к Неглинке. Что-то тяжкое, долгие годы томившее, - отлепилось, отпало. Впавшая в летаргию, или даже умершая Жужу осталась под землёй и манить к себе перестала. Воздух стал блаженно чист, очищающе остр. Подступал вожделенный ноябрь!

«Тихо. Солдат нет и вечер...» Другие времена, другие люди, другая – хотя и всё та же - река.

Прислонясь к выступу каменного дома, стоял я на углу Неглинки и Кузнецкого моста, вслушиваясь с удивлением в повествовательное сопровождение, возникшее само по себе, и не уходившее, не улетающее:

Ставшие целебными воды - тихо текут. Вода – незримый хранитель. Чего? Того, что не должно выветриться из памяти! Но часто хранит она в себе, растворив и очистив и сор, и дребезг. Когда-то горькие от ртути и крови, тяжко-вяжущие от свинца, полные голосов и смутных отражений: то отражений Салтычихи, выбегавшей в посконной рубахе после каждого убийства к Неглинке-реке, то бандюганов, закровивших воду, изгадивших Щёкотовский тоннель, или как его называли чуть позже - тропу дяди Гиляя...

Воды хранят запах шлюх, отблески соитий, но и клятвы верных, никогда не предававших друг друга влюблённых хранят, и восклицания честных московских инженеров, давно предлагавших сделать из Неглинки новое московское чудо! Воды текут и, может, и впрямь станут целебными: наполовину живыми (горькими), наполовину мёртвыми (сладкими). Но когда это будет, знает, наверное, один Бог.

Стоя на Кузнецком, я внезапно понял: вода - моя жизнь! Тихие воды Неглинки, хищные воды Мерры, целебные воды Валдая заструились по моим жилам после стакана напитка, смешанного с полыньёю.

Воды текут и текут, и продолжают мою жизнь уже без меня, но с моим, то исчезающим, то возникающим вновь отражением...

КУКУШНЯК

Рассказ

1.

Жёлтый раззявленный клюв, красная глотка, костяной узкий язык. Маску медицинскую китайцы сляпали с выдумкой: хищная птица - и квит! Смотрит сурово, взыскательно, того и жди, клонет. Вот только вместо крылышек у птицы - рукава пончо. Вместо лап – кроссовки серобуромалиновые. В кроссовках этих быстро, бесшумно, мимо невидимой сети и тайных принад – в атаку!..

Сюда, на улицу Наличную, к Немецкому кладбищу в первый раз она попала вынужденно: бумажка занадобилась. Бумажку в Судмедархиве не выдали, но документ она в ту же ночь скопировала. Тогда же, глубокой ночью, детей этих и засекла. Сейчас увидела снова.

2.

- ... опять эта стерва причапала. Взять бы её за курдюк! А, Влах?

- Подождём. Мне самому она поперёк горла. Скажи мелкотне, чтобы проследили. Даром, что ли, вас в конклав смертников записали?..

Двор, выходящий на пустырь. Подвал у крайнего подъезда. Вокруг – тревожная суеть.

- Что за фигня, Влах? Какой-такой конклав? – Подросток-мямля с красными рогами вместо шапки, слюняво раззявил рот.

- А такой. Вы у меня в этой запертой комнатёнке, в этом конклаве, часа своего дожидаетесь! Всё, линяем. Ещё раз сунется – кончать её будем.

«Сентябрь горит, убийца плачет»... - срываясь на фальцет, запел Влах.

Козлобородый Влах ушлёпал. Он не шёл, а именно шлёпал несоразмерно большими, ластообразными ступнями. Подросток-мямля только что говоривший с Влахом рассмеялся. Тот вернулся, резко ударил в пах, краснорогий осел на асфальт. Невдалеке празднично затенькали детские голоса.

3.

Уже три года как ушла «Кума» на покой, а всё не привыкнул к ней люди. Пугает она их. Особенно, когда «охотится». Из снайперов её турнули давно. Но, что за невидаль снайперство? Холодноватый азарт, ярость, прыть. Теперь этого мало. То ли дело, биоэнергетика. Там – мир иной. Чистота в мире том и порядок! Ни запаха горящих костей,

ни звериного рыка. Не висят на кустах, сочась дрянью, нежно-розовые кишки. Кровь жаркой струйкой из трахеи не выбулькивает. А главное - идолище поганое, идолище гнойное, по имени ИНФО-ИГО, от одного её взгляда горит синим пламенем! Сайт убит? Значит, и вербовщики смерти обречены. Не простят им хозяева потери сайта!..

В тридцать семь лет, на восьмом месяце беременности Кирьяна Теплова – кодовое имя «Кума» - полюбила красоту электронной смерти остро, резко. Не все сознавали Кирьянину силу. Однако чуяли. «Звери всё чувствуют. На то они и звери, - понимала про себя «Кума», - а как ещё можно назвать людей на порно-сайтах малышей распинающих? Или мастырящих группы смерти? Но звери в людском обличье – хрен с ними. А люди обычные? Они-то чего шарахаются? Может, прицельный правый глаз их отпугивает? Или рязанский невыводимый говорок? Может, красота моя особенная? Волосы медово-русые, нос вздёрнутый, губы узко-строгие? Даже бёдрами при ходьбе вертеть не надо, всё одно засматриваются: фигурка-то - если на миг приостановиться - как лира колёсная!»

- У тебя «Кума», красота какая-то одичалая. И плотоядная притом, - говаривал замначальника школы невидимок (официально – Школы снайперов) подполковник Тыць, - но про красоту потом. А сейчас – шагом марш упражняться!

Любимым упражнением было наблюдение в артиллерийскую буссоль с десятикратным увеличением. Затем - наведение через прицел ПСО-1. Наблюдать в буссоль было необходимо, иначе враз ухайдакают. При наблюдении следовало давать глазам отдых. Отдыхая - удерживать в памяти «зрительную картинку». «Зрительные картинки» больше всего и влекли. Они-то и сделали «Куму» классным снайпером! Правда, всего на четыре года. Выперли её за «крещение кукушки». Было так.

За десять дней до Троицы, в праздник Вознесения, «Кума» затеяла крестить кукушку. В докладной подполковник Тыць писал: «Празднуя четвёртую годовщину выпуска, девушки-снайперши собрались и с песней «Вся жизнь впереди! Раздётся и жди...» пошли в лес. Там кумились и крестили кукушку. При этом связывали макушки молоденьких берёз, навешивали на них нательные кресты, а также траву подорожник, называемую в народе кукушкой. Сходились-расходились, напевая: «Вы, кумушки, вы, голубушки! Кумитесь, любите, до Духова дня!» Сняв кресты с берёз, обменивались ими, радуясь этому, по их словам, «славяно-христианскому обряду». После кумления – взметнули костёр. Появились парни, принесли мед, вино, орехи. Девушки угощали парней приготовленной на костре яичницей. После угощения расходились по лесу парами, причем инициатива выбора принадлежала девушке...

В лесу кричал куку. «Кума» выбрала Потапа. Позже уверяла: в лес тот забрёл случайно. Там же в лесу, Потап склонил Кирьяну к соитию. Сам не разделся, а девушку

раздел догола и уложил животом на толстую ветвь дикой яблони. Поскольку соитие длилось всего шесть минут, заметила это безобразие только одна снайперша. Негодуя, что Потап достался не ей, доложила по форме. В общем и целом, - какой-то кукушняк, какой-то птичий базар устроили!..»

За встречу с Потапом, Кирьяну из отряда снайперов и отчислили. Правда, тут же предложили поступить на биоэнергетическое отделение одной из военных академий, тоже под Москвой. После сложных экзаменов взяли. Оперативный псевдоним она попросила оставить прежний: «Кума». Объяснила: так у них в Шацке зовут кукушку. Что она сама брошенная матерью, кукушка, «Кума» знала с детства. Да и слово «кукушняк», употреблённое Тыцем, ей нравилось: смачно и ласково рисовало оно нынешнюю детско-взрослую жизнь!

4.

Шла кукушка мимо сети, а за нею злые дети...

Призрачные, едва уследимые, вертикально натянутые сети, расставленные на человек, перекрывали все улицы и переулки, все входы-выходы. Городьба эта висела над всей среднерусской возвышенностью. Мир от такого перекрытия перевернулся с ног на голову. В низком нечистом воздухе, над босыми, торчащими вверх пятками мира, слабо озаряемая метеоритами и спутниками, эта мелкочейстая сеть и колыхалась. Присутствие сети ощущали многие. Но силы её не знали, думали: погода, космические экскременты, то, другое, третье. Сеть эта и выковала из своих окрайцев паскудное ИНФО-ИГО! Про ИГО «Кума» прочла в одной умной книжке. После книжки повествовательным сопровождением своих действий и занялась: всё, что делала, стала наборматывать на диктофон.

5.

Увидав её впервые в дешёвеньких «Граблях», сразу встал в тупик: вроде из военных - на правой бровке едва заметная подпалина, левый глаз чуть прищурен. Но, может, и медичка: трижды, из-под ресниц равнодушно-внимательно обежала зал. Дождавшись, пока двинется к выходу, хотел проследить, но через минуту был раскрыт.

- Я тоже тебя вмиг рассекретила. Темку ищешь?

- Смысл жизни лопнул. С треском! Как рыбий пузырь, когда его на огне жарят.

- Ну-ну. Меня Кирьяной зовут. А ещё - «Кумой». Ладно, идём. Тут одна кулемёсица, ну, суматоха, по-вашему.

Нежно-солдафонская речь «Кумы» притягивала. После двух-трёх ничего не значащих встреч Кирьяна пообещала: «Буду тебе, писака, эсэмэсить. Может, кому надо лобаря дашь. Одним словом, засветишь, что в этих чёртовых группах смерти творится».

На миг показалось: «Кума» тоскует по настоящей войне. Но тут же раскрылось и другое: ни снайперские, ни блогерские войны ей неинтересны! Угадав мои мысли, сообщила: «Бывает ещё, конечно, война священная. Но нас теперь до неё за грехи не допустят». Запутавшись в сетях и войнах, она снова стала встречаться с Потапом. Скоро и ребёночек под сердцем забился. Причём «Куме» показалось: его, ещё не родившегося, уже требует на суд жадно клокочущая под ногами земля.

6.

Её снайперская хватка обладала собственным миражным телом. Ноздри, уши, глаза. Пальцы на руках и ногах. Эфирно-призрачное снайперское тело было, как вторая тень. Только тень эта не волочилась по земле, а ходила на двух ногах, была объёмной и кровеносной. Подполковник Тыць эфирной тени не видел, но от её незримого присутствия поёживался.

– Непростая ты штука, Кириакия! И ладошки у тебя шершавые. Видно ты ими, как жерновами, идолов в прах перетираешь! - хихикал, Тыць.

Про мученицу Кириакию она же подполковнику и рассказала. С той не всё было гладко. В ночь тюремную, ночь жуткую, Кириакии, исхлёстанной воловьими жилами и подвешенной за волосы, явился Христос. Исцелив раны, обещал освободить от испытаний, посланных для укрепления веры. Наутро правитель Вифинии Илларион был страшно раздосадован, увидев Кириакию живой-невредимой. Приписав это чудо своим божкам, велел отвести христианку в языческое капище. Войдя, она вознесла молитву к Спасителю. Внезапно стены содрогнулись, идола рухнули, растёрлись в прах, в храм ворвался вихрь и развеял прах без остатка. Испуганные язычники разбежались, кто куда. Лишь мучитель Илларион продолжал проклинать всех и вся. И тогда небо разломилось надвое, сверкнула пятипалая молния и ослепила правителя. Лицо его сделалось кроваво-красным, а тело – сплошь чёрным. Правитель испустил дух. Казалось бы, всё ясно! Но горечь осталась. Нельзя было без мук? А? Нельзя?

Была ещё одна часто вспоминаемая история: биоэнергетическая. В ней Тыць-пердыць уже не присутствовал. Приказали срочно установить местоположение двух отпетых кибербомбистов. Через два часа, путём тяжких усилий, место – деревянную халупу в проезде Энтузиастов с проломленной в четырёх местах крышей – она увидела в деталях. Готовясь передать координаты, случайно притронулась к нижнему веку своего

прицельного глаза и вмиг поняла: голограмма! Место, которое она указала как космоэнергоспецоператор (так после Академии стала именоваться её военно-учётная специальность) - просто водвинутая в пространство голограмма! А кибербомбисты - в другом месте дела свои вершат.

Быстро установив новое местоположение - в доме купчихи Хомяковой на Малой Ордынке - «Кума», прерывисто вздохнув, заставила кибербомбистов, друг друга уничтожить...

7.

Между тремя мирами трепетала она! Между тьмой, светом и невидимой сетью била крыльями «Кума»-Кирияна! Между мирами был её призрачный дом: с вытертой до блеска скамейкой под окнами и пахучим ореховым деревом в конце двора. Исчезать и перевоплощаться было её специальностью. Неустанное ясновидение стало второй жизнью. Прямо и неискажённо научилась видеть она и цифровую сеть.

Сеть «подкидывала» многое. Вздрагивали в ней хвостами корабли-призраки; хохотали крылатые люди с дико выгнутыми носоклювами; напарывались на мины однорукие солдаты Великой Отечественной; пульсировали фантомные части человеческих тел: глаза, капилляры, вены; кололи цыганской иглой с огромным ушком пугающие обрывки фраз...

Вдруг, недалеко от сети, улыбчивый священник обозначился. Сразу потянулась к нему. Удалось поговорить.

- Казнь мира сего эта новая сеть. На вид ласкова, а вяжет крепче вервий. Цифровой мир повернулся к людям тёмной своей стороной. НЦР! Новое цифровое рабство, вот, что такое эта сеть.

- Как же быть? Как жить-существовать, отец Адриан?

- Скользи мимо сети. Уходи от неё, не озирайся! Сеть эта - несвоевременная смерть. А от смерти ускользать нужно весело.

- А если уцепит, если не отпустит?

- Не знаю я этого. Сам едва ускользаю, - бережно потрогал курчавящуюся бородку отец Адриан, - а про тебя скажу так: не грусти, что с кукушкой схожа! Есть кукушки необыкновенные. Те прямую связь с Царицей Небесной имеют. Кукушка – кума Богородице. Через Царицу Небесную - и защита ей!

8.

Саднящая кожа дня. Свербящая корочка ночи... Целую неделю, путая день и ночь, терзала она правое веко и всё-таки установила: хорошо защищённый сигнал идёт из дома на улице Наличной! Снова Немецкое кладбище? Опять – дети? «Кума» испугалась: самыми злостными защитниками тёмного цифрового мира почему-то становились дети...

Выйдя из метро, она со сладостью окунулась в мартовский глубокий сумрак. В троллейбус не села, хотя идти было тяжело. Шевеления плода стали нешуточными.

В третий раз проникнуть незаметно в подвал на улице Наличной, где создавалась группа смерти, удалось ещё зимой. Запомнился дикий рэпак и шибздик Влаха, трясущий жидкой бородёнкой, шлёпающий ногами, как лапами. Сейчас, в марте, она шла «закрывать» инфо-притон, шла «гасить» скворчащий громадной сковородой цифровой ад. Ад был новым, острым, доводил «Куму» до плача и скрежета мозгов.

В дрожи припадочных голограмм, в сухой задроченности компьютерных формул продолжал входить в неё этот цифровой ад. Темнее тёмного! Аспидный! Ух, ух! Посчитаться бы!...

Шла кукушка мимо сети, а за нею злые дети... Шла, шла, шла...

На этот раз дверь в подвал была приоткрыта.

Десять спиц и четыре ножа сразу вонзились в неё. «Кума» упала. Но сразу поняла: раны неглубокие, пустяковые. Её били ногами: веселясь, от радости повизгивая. Особенно старались краснорогий мямля и синезубка в жёлтой куртке.

- Кончай её совсем, - орала девчонка-синезубка, - она расскажет!.. По животу, по животу! Влаха сказал - будущий киндер может её информашки впитать!

- Засохни, Переделка! Сама дубась, - самый маленький отшагнул в сторону.

- Я Переделка? Да я когда пацаном был, таких как ты, давил, как цыплят.

- А теперь переделался в девчонку и трусишь?

- Я? Ну ты ваще...

Дети про «Куму» забыли. Она отползла за гаражи, потом прошла несколько шагов, но легла опять: сил идти не было. Тогда она заплакала. Не от боли, от бессилия: страшно и незаметно изменил детей нововыделанный мир!

«Кукушняк... Кукушата... Сообщество подкидышей и подкинувших! Будьте как дети небесные, а не как оторвы поганые! Прости, Господи, за поправочку. Кукушка-жизнь детей в чужие гнёзда подбросила – они и лютуют. Так ведь кукушата разные бывают. Глядишь, кто-то ястребом, кто-то соколом перекинется. Как в поверьях... Но уж лучше кукушняк! Пусть лучше такими живут, чем не рождаться вовсе!»

Жизнь дрогнула и застыла, как шарик ртути на краю стола. Глаза закрылись. Но дух теплился, дух уходил к предстоящей весне, к апрелю, маю. Она ждала этих месяцев жадно, ждала, когда вернётся Потап, глянет на сына, тридцать раз прокукует...

9.

Апрель прибывал, как пар: клубами. Плод жил, кукушка шла мимо сети. Но теперь она была кукушкой громадной: размах крыльев -15 метров! От радости «Кума» рассмеялась. Кто-то сказал ей: смех умирят боль. Лёжа на холодном голом асфальте, она смеялась мелкими приступами. Мальчик из группы смерти пять минут назад улёгшийся рядом, смеха её не испугался.

- Влах сказал – ты снайперюга. Ты нас убьёшь?

- Нет, просто сайт, аппаратуру и помещение уничтожу.

- А если кого-то из наших поранишь?

- Все, кроме Влаха, успеют уйти.

- Ты тёплая и нестрашная. Я рядом с тобой полежу.

- Беги! Вдруг рожу? Незачем тебе...

- Есть зачем. Я помогу!

- Чем, дурачок? Ладно... Вызови скорую.

- Я уже вызывал. Влах её встретил и назад завернул. Сказал им: ложный вызов.

- Ещё раз, с моей мобилы набери... А Влах - он сам себя кончит. Но пред тем мальцов разгонит. Прикажу ему.

- Врёшь! Как ты ему прикажешь? Даже полиция не может.

- Я этим делом давно занимаюсь.

- Смертюки тебя всё равно достанут. А если я буду лежать рядом, тебя не убьют.

Краснорогий мямля побоится. Он меня на четыре года старше, а бздун!

- Рогатый мальчик... Не думала, что доживу до такого. Как тебя зовут, дурачок?

- Зиновий, Зиня. Я всё про группы смерти знаю. Пока инфу, которую спрята, не найдут – меня не тронут. И тебя тоже. Скажу: ты моя родная тётка.

- У тебя родных, что ли, нет?

- Были, только померли, когда мне пять лет было.

- Всё! Не могу! Вали, вали... Может, помру здесь с пацаном своим. По мёртвым губам, по мёртвым глазам ступала я. Вот и получила за это... вот и отличилась!

«И отличилась в боях за город Кодерсдорф... Сквозь боль внезапно всплыл подполковник Тыщ когда-то читавший архивный приказ про снайпера Инну Мудрецову.

10.

«... в бою 18 апреля 1945 года за населённый пункт Кодерсдорф, командуя взводом и продвигаясь вперёд, заняла несколько домов на окраине населённого пункта. Противник перешёл в атаку превосходящими силами. Лейтенант Мудрецова со взводом, зацепившись за окраинные дома, упорно сдерживала натиск противника. На стрелковый взвод двигался бронетранспортёр с пехотой. Лейтенант Мудрецова из ружья ПТР подожгла бронетранспортёр и огнём взвода рассеяла противника. Танки и пехота противника прорвались через боевые порядки батальона, и взвод вместе с лейтенантом Мудрецовой оказался окружённым. Из-за угла дома она в упор из автомата расстреляла 8 немцев, а когда кончились автоматные патроны – из личного оружия пистолета «ТТ» убила ещё четырёх немецких солдат. В неравном бою и в окружении была тяжело ранена, но продолжала вести огонь и управлять взводом. Взвод с боем вышел из окружения, а снайпер Мудрецова, как офицер, вышла последней.

За проявленную исключительную храбрость и умение управлять боем, лейтенант Мудрецова достойна награждения правительственной наградой орденом Красного Знамени.

*Командир 702 стрелкового Одерского полка –
полковник Губайдулин».*

11.

Огромная кукушка, прилетевшая из царства мёртвых, теперь хлопнулась на спину и лежала рядом, задрав лапищи. Но вдруг исчезла. Ушла война. Потерявшая руку Мудрецова выжила. Куда-то пропал Зиня. А жизнь, та, наоборот, вернулась, встала в головах и запричитала, как рязанская баба. «Кума» приподнялась, глянула прицельно на подвальную дверь.

Тут же выглянул Влах. Слепо, как заводная игрушка, стал тыкаться в разные стороны. Потом ухватил палку, погнал высыпавших из подвала детей вон. Те разбежались. Красному мямле Влах обломил рог. Мямля, плача, отвалил. Влах, не раздумывая, выхватил из-под одежки нож и всадил себе глубоко под сердце. «Кума» нажала кнопку мобильного. Гнусная хавира полыхнула мертвенно-бледным электронным огнём. Огонь долетел до неба. В ответ сверкнула небывалая, трижды изогнутая молния. Низко над городом, колыхнула урчащим чревом нежданная мартовская гроза. «Как по Иллариону! Как по языческим божкам!» «По-снайперски! С неба! Лазером!» - зачарованно твердила «Кума»...

Здесь её собственный крик распорол округу. Ноги как бетонные плиты, медленно раздвинуло в стороны. Отошли воды. Младенец торкнулся в мир. Медсестра, которую из соседнего дома привёл Зиня, приняла младенца, обрезала пуповину. Вдалеке уже «крякала» скорая. Плод жизни земной, которому суждено было очутиться в чужом гнезде и выбросить оттуда приемных братьев и сестёр, заорал. Вместе с ним - уже ликуя - заорала и она, вмиг прознав: жить кукушонку недолго, но сильно, ярко.

Её подняли, перевязали. «Кума»-Кирияна на миг прикрыла глаза. И тут же увидела в расстрельной «Коммунарке», в подмосковном Онкоцентре незнакомых детей. Они были больны. Двое идолов с крутыми петушиными гребнями и ласковым пирсингом на щеках, уговаривали детей уйти из жизни. Онкоцентровский кукушняк в ответ густо шевелил перьями, постукивал клювами...

Врач «скорой» бережно взяла младенца, понесла в карету. «Кума» притронулась к правому веку. Всё начиналось, чтобы закончиться и возникнуть вновь. Нужно было успеть!

12.

Через день новомученица Кириакия уже спешила в неблизкую «Коммунарку». Чтобы развеять идолов прахом.

ЧАСТЬ II

СУЛЬФАЗИНОВЫЙ КРЕСТ

Рассказ

Гул микрофонов на минуту-другую стих. Чтобы отвязаться от избыточных выступлений и слов, Кирик развернулся к сцене спиной и стал глядеть в широкие, во всю стену, не задёрнутые шторами окна. В крайнем правом окне раскидистый дуб с ветвями, напомнившими в разлёте узластый восьмиконечный крест, он и увидел. Ветки по весне были ещё голыми, лишь кое-где обозначали себя пугливой зеленью. Похожее дерево-крест Кирик уже видел, но никому про него не рассказывал. То, давнишнее дерево припоминать было тяжело, да по правде и опасно. На первых порах он про дерево-крест ещё

вспоминал, чем вызывал приступы боли и сокрушающей тоски. Тут же до сорока градусов подсакивала температура, начинались судороги, вслед за ними наваливалась дикая ломота, костенели мышцы лица и тела...

Правда, совсем недавно, он разоткровенничался про дерево-крест перед ребятами-телевизионщиками. Ребята весёлые, радужные, телевидением на удивление не изгаженные, про медицинские казни и слыхом не слыхали. Вникнув, они притихли, даже съёжились. А Кирик, рассказывая, наоборот, увлёкся, прямо-таки взлетел весенней птичкой, да так неосторожно, что миглом рухнул вниз, провалился и задохся: совсем, как в уборной провинциальной психушки, специально выстроенной во дворе закрытого отделения для самых неводержанных.

Запах из нужника памяти потёк не так чтобы совсем гнусный. Скорей наоборот: сладко запахло хорошо подсушенным дерьмом, приятно-отвратным, до боли напомнившим душок раннего детства.

Вот и сегодня: перед торжественной сходкой, разговаривая один на один с европейски признанным писателем, чуть сбрызнутым, словно одеколоном, смутным дипломатическим прошлым, – Кирик не сдержался. На минуту забыл, зачем сюда на Швивую горку пришёл, забыл правых и виноватых, старое и новое время, забыл честных баб и остервенелых профур, даже туманящую влагу «Красного камня» запаматовал и сказал общеевропейцу лишнюю фразу: «Страшнее серы зверя нет».

Тот укоризненно покачал головой, и, явно не понимая о чём речь, протянул недовольно: «Опять вы, Кирик Ильич, со своей мистикой».

А никакой мистики не было. Был сульфазинный крест, который в присутствии общеевропейца вслух почему-то называть не хотелось. Наверное, потому, что Кирик вмиг определил: если дать соприкоснуться той давней истории с двумя-тремя капельками слюны, вылетевшими вместе со словом «мистика» изо рта всевропейца и теперь мелко сиявшими на лацкане его пиджака, – рассказ станет показушным, подложным! А показуху в эту историю Кирик пускать никак не мог.

Тихо-неспешно, меж рядами кресел, выбрался он во двор, сел по-зэковски на корточки прямо под раскидистым дубом, одним из немногих, что уцелели здесь, на давно и хорошо знакомой Швивой горке...

Сегодня Кирика завёл шум микрофонов. А тогда три с лишним десятка лет назад всё началось из-за окурка.

Осень была нежно-летучей и сладко-коричневой. Кусаться и царапаться не хотелось. Да и нельзя было. Кирик Юрчишин уже третью неделю лежавший в психушке, и только-только отбившийся от инсулиновых шоков, чувствовал, конечно, себя героем, но и опасность чувствовал. Вокруг огромного дощатого настила, укрепленного на метровых сваях и выстроенного для отдыха больных ещё в послевоенные 50-е годы ходило человек сорок больных. Среди них доставучий Шмоня: приклатнённый, прятанный в психушке от суда и теперь пытавшийся заставить Кирика поднять кинутый на землю им же, Шмоней, окурок.

Кривогубый Шмоня залупался, подходил спереди, сзади, настропалил других. Ссора во дворе то затихала, то вспыхивала вновь. Сильно кричать и размахивать кулаками, было нельзя: могли наказать.

Но дураков учить, что мёртвых лечить: несколько старожилов отделения, игравших лёжа со Старшим, устав хлестать картами по настилу, решили размять спины. Один из них резко поднялся и дал Кирику под дых. Кирик ответил. Автоматически и несильно, но здоровенный Волдырь тут же упал всей тушей на Кирика.

Бить Юрчишина открыто не стали, затолкали под настил, чтобы отмутузить перед ужином. Тут на беду во двор вышли сразу два санитары: Румын и Глотка. Один увидел торчащую из-под настила Кирикову ногу. Кривогубый Шмоня решил подслужиться и, взмахивая одной рукой, стал объяснять: больной Юрчишин никому не даёт покоя, а под настилом что-то прячет.

- Может, анашу?

Санитары выволокли Кирика из-под настила. Кирик оторвал узкую доску и заслонился ею от двух верзил. Те подумали, посмотрели на окна ординаторской и на время отстали.

Старшой и его прихлебатели громко смеялись, показывали на Кирика пальцами: теперь им самим не надо было мараться.

Через час за Кириком пришла медсестра. По дороге им попался по пояс голый, ошипанный и подпаленный по плечам, как гусь, майор Лупнёв, которому Кирик сдуру рассказал о своей недолгой армейской жизни и связанных с ней приключениях. Разжалованный Лупнёв – не устававший подчёркивать своё военное превосходство - тут же, при медсестре, начал Юрчишина стращать и лапать. А когда Кирик его оттолкнул, стал тягуче выкрикивать: «Нападение на офицера, нападение на офицера!»

На беду дежурил доктор Четвертак, чутко-прицельно, с ленинским дружелюбно-коварным прищуром оглядывавший больных и при этом неодобрительно покачивавший головой с огромным, при повороте далеко выступавшим над шеей затылком. Увидав этот

гориллоподобный затылочный горб Кирик из инсулиновой палаты с небывалым скандалом и вырвался. Странно было то, что его всё-таки - решив инсулиновые шоки прервать - перевели в палату обычную, чего, как знал Кирик, раньше никогда не делали.

Тогда-то он сразу и окрестил Четвертака «штурм-гориллой».

Наблюдавший издалека сцену с разжалованным майором Четвертак подошёл и, ни слова не говоря, жестами поманил Кирика в процедурную. Дежурному врачу было скучно: пятница, скоро вечер, зав отделением уехал, некоторые другие врачи – тоже. Можно было выпить спирту, но в последнее время спирт как-то не шёл: хотелось чего-нибудь поострее.

Вызывая на спор самого себя, Четвертак негромко произнёс:

- Если войдёт медсестра Таисия – больного к чёртовой матери во двор. Если войдёт кто-то другой – больного наказать.

Таисия не пришла, заглянула старуха-докторша Арефьева. Близоруко глянув на покачивавшего затылочным горбом Четвертака, она слабо пискнула: «В прежнее время таких, как вы, врачей расстреливали!» - и поспешно скрылась.

Четвертак подошёл вплотную и ухватил Кирика за вихор.

- Не трогайте меня.

- Чудак-человек. Я же просто реакции твои проверяю. А ты... Вот как ты, Юрчишин, теперь живёшь? Армию советскую обгадил прямо перед солдатским строем. Родителей позоришь. В твоей истории болезни уже можно записывать: «причина смерти – неудавшаяся жизнь». А зачем тогда и жить? Я тебя спрашиваю: кому это надо?

- Кому-то надо, - насупившись, ответил Кирик, - вы мне жить не запретите.

- Вот видишь? На вопрос, кому нужна твоя жизнь – ответить не можешь. Дерзишь, сопротивляешься лечению. Насупился, всех нас врагами считаешь. А это, знаешь, о чём говорит?

- О чём?

- О явном психозе. Так что напрасно ты жалуешься, что тебя здоровенького в закрытое отделение упрятали. Болен ты, ох как болен!

- Я здоров.

- Нет-нет. Не убеждай меня, дружок, не поверю. Я врач опытный и на этом деле собаку съел.

Кирик невольно улыбнулся.

- Ну вот, опять. Минуту назад - резкая хмурость, теперь - улыбочка. А это уже явный маниакально-депрессивный психоз. Того и гляди возомнишь себя борцом за справедливость и на меня кинешься.

- Не кинусь.

- А ты кинься. Я люблю, когда на меня мужики кидаются. Может, поладим...

- Говорю ж вам - не кинусь.

- Ну, тогда ответишь за всё и сразу. За то, что доску от настила оторвал. За то, что на инсулиновые шoki жаловаться к заведующему отделением ходил. А так не полагается. Нельзя так, понимаешь? Кстати, тут мне Лупнёв нашептал... Ты вроде некрещённый?

«Всё выдал, сука», - скрипнул зубами Кирик, а вслух сказал:

- Не успели родители в детстве. Работы у них было выше крыши. Но я - собираюсь.

- Ну, это я так, к слову. Взял, так сказать, на заметку. Это даже хорошо, что некрещённый. Мы же с тобой советские атеисты, так ведь?

— Я не атеист.

- А вот это нехорошо, вот это неправильно. И чтобы ты убедился, что крест тебе в будущем не нужен... Гм... Ты в туалет давно ходил?

- Только что.

- По-маленькому или по-большому?

- И так, и так.

Четвертак на минуту задумался, потом стукнул себя ладонью по лбу. Звук получился странный: туповато звонкий.

- Тогда вот что. Мы тебя, как следует, полечим. Кардинально, так сказать, и результативно. Ну, а после того, как введём тебе нужный препарат – крест на груди нарисуем. Но повторяю: вряд ли он тебе поможет! Скорее, наоборот. А нам, врачам, это как раз в лист. А то совсем на курсах повышения квалификации задолбали: «Приведите медицинский пример, когда больному Бог не помог! Покажите нам философию марксизма в действии». Диалектический материализм, так сказать, понимаешь?..

Вошёл обрюзгший, с чёрной, давно не выбривавшейся под носом и нижней губой щетиной, доктор Котов.

- Ты опять за своё, Игнат?

- Так, буйный тут у нас объявился. Доску от настила оторвал. На майора Лупнёва напал.

- Как же! На Лупнёва нападёшь. Он сам кому хошь, ухо откусит. А это, часом, не тот инсулиник, про которого зав отделением на летучке говорил? Вижу, ёкала-манокала, что тот. Отпустил бы ты парня, Игнатий Палыч! Как бы чего не вышло.

- Шёл бы ты к своим наркотам, Семёныч. С ними как раз и побеседуешь.

- И пойду, ёкала-манокала, и пойду.

Обиженный Котов ушёл. Ушёл и Четвертак, но вскоре вернулся с незнакомой медсестрой и двумя санитарями.

- Приготовьте больного к процедуре. А я пока чуток разогрею сульфю.

Кирика связали, спину и ягодицы оголили, бережно, даже, показалось, с особой заботой перевернули на живот.

- Я сам введу препарат. Через полчаса отнесёте его на носилках в пустую двухместную, на третий этаж. Там тоже - на живот кладите. И пристегните, как следует!

Кирик с интересом наблюдал, как торжественно, словно священнодействуя, врач набрал четыре шприца, выложил их на чистую салфетку.

Два укола в ягодицы – прошли безболезненно. Ещё два – под лопатки – заставили скривиться.

Тут же Четвертак протёр свой безымянный палец спиртом и уколол себя лопаточкой для пирке. Уколотым пальцем резко и широко нарисовал на лбу Кирика крест.

- Молчи и знай: первый твой крест - сульфазинный! Четыре укола – и крест готов.

- Это квадрат, - прохрипел, уже чувствующий лёгкое нарастание боли, Кирик.

- Молчи, опудало! И заруби себе на носу: первый крест - медицинский. Второй, намалёванный кровью, - дополнительный. Так сказать, на всякий случай. Считай, что к тебе скорая помощь с «красным крестом» прикатила, - дробно заржал Четвертак, - пока есть силы можешь глянуть в зеркало, - расщедрился он и вынув из стола женскую пудреницу, раскрыл её, но сразу и захлопнул, - а третий крест... Про третий вечером узнаешь! Поэтому всё ж таки полюбуйся, - поднёс Четвертак раскрытую пудреницу прямо к лицу Юрчишина.

Нарисованный на лбу крест по концам перекалдин чуть растёкся, но вид всё равно имел зловещий.

Уже несколько часов Кирик выл и корчился от боли. Медленно нарастающий внутренний жар стал нестерпим. Но самой страшной оказалась боль в ногах и руках, пристёгнутых к рамам кровати четырьмя жёсткими светло-коричневыми ремнями. Боль была хуже ножевой, при любом неосторожном движении казалось: глубоко вонзаясь в кость, по руке или по ноге, медленно ходит взад-вперёд острозубая двуручная пила.

На пике этой костно-мышечной боли ощущение близкой смерти, раньше никогда его не тревожившее, к Юрчишину и подступило. Смерть была, как чёрный раздутый пузырь, в который внезапно превращалось тело. От дикого распирающего, шедшего изнутри, тело вот-вот должно было лопнуть и разлететься в клочья. Но как ни странно, при

задержке дыхания, - а Кирик его задерживал, насколько хватало сил, - пузырь смерти откатывался куда-то в глубину палаты, и продолжал там обморочно позванивать и поскрипывать, как накачанная до предела автомобильная камера, на которой в детстве плавали с ребятами в реке.

В двухместной палате Кирик лежал один. Свет на ночь выключили, но одну слабенькую боковую лампу, вделанную прямо в стену, гореть всё же оставили. Больного Юрчишина положили головой к окну. Широкий и высокий оконный переплёт доставал почти до самого пола: дом был старинный.

Дважды заходила медсестра Таисия, меряла температуру, говорила одно и то же: «У вас – 40 с копейками» и уходила, на ходу причитая.

Кирик пытался петь – из горла комками вылетал бессильный клёкот. Пытался звать на помощь – голос рвался, слабел. Единственное, что удалось, так это, слегка задрав голову, рассмотреть из окна палаты огромный дуб, на который, гуляя в больничном дворе, обнесённом четырёхметровыми стенами, Кирик раньше внимания не обращал.

Ближе к окончанию ночи, Юрчишин понял: до утра, когда в палату может заглянуть кто-то из врачей, он не дотянет.

- Уй-й-я-я, у-рр! Уй-й-я-я, у-рр, - выл и рычал Кирик.

Охрипши от воплей, равномерно сплёвывая сухие остатки кожи с обкусанных и за ночь глубоко пораненных губ, он, не отрываясь, глядел на дерево. Сосредоточенность чуть унимала боль. Цепкость взгляда, словно бы создавала для боли сдвоенную водосточную трубу, через которую боль потиху помалу и стекала.

Чуть рассвело и Юрчишину показалось: ветки дуба – а это был именно черешчатый дуб, Кирик, как биолог, знал это наверняка, – раскинуты крестом. Он стал смотреть внимательней и понял: крест, которым раскинулись ветки - какой-то необычный, восьмиугольный, с двумя дополнительными перекладинами.

Пока рассматривал дерево и думал о нём – боль кое-как можно было терпеть, но как только закрывал глаза или возвращал шею в нормальное положение – дикая ломота суставов и распирающие внутренностей, плюс боль во всех точках соприкосновения тела с больничной кроватью стремительно нарастали.

К утру сердце стало работать с перебоями. Кирику показалось – через тоненький шланг сердце накачивают и накачивают машинным насосом, и оно сейчас - лоп! лоп! лоп! лоп!..

Сердце разрывалось и никак не могло разорваться.

Два или три раза Кирик терял сознание. Наверное, это его, в конечном счёте, и спасло. После очередного обморока, во время которого шея стала мягче ваты, он снова взглянул на дерево-крест и увидел: каждая веточка, даже каждый лист – зелёный или уже по-осеннему желтеющий – живут своей особенной жизнью. Листья были приветливы и доброжелательны, он не злились и не свирепствовали как люди. Наоборот: что-то мягко шепча, вдували в испытуемого покой, расслабу...

Когда в очередной раз ушло сознание, приполз на карачках тухло болезненный, но всё ж таки приглушающий боль полусон.

Хорошо в этом полусне было то, что ветви огромного дерева сладко и веско покачивали желудями. Вскоре стало ясно: это не жёлуди, а события, люди, города, даже страны!

Кирик намечал глазом жёлудь, и он раскрывался картинкой: лазурная Венеция, вслед за ней – пустой на окраинах, с голубовато-чёрными снегами Североморск, потом Сапожковая площадь в Москве, которую так называли из-за храма Николы в Сапожке, а сам храм – в честь пребывавшей в нём иконы Николая Чудотворца в серебряных с вызолотой сапожках. Сапожковая площадь, спрятанная в ветвях дерева, бойко и радостно покачивалась, словно на ней опять заплясал и запел знаменитый кабак, так и называвшийся: «Под сапожком».

Стоило, однако, Кирику моргнуть – картинка менялась.

Перебегая от одной картинки к другой, Юрчишин вдруг шире открыл глаза и задержал дыхание. Тронув глазом не жёлудь, а зелёный лист, он увидел здесь же, за воротами больничного закрытого отделения, стоящую мать, которой только что сообщили: он, Кирик, умер.

Матушка стояла бледная, с глазами полными слёз. Но слёзы почему-то не текли, хотя места для них в глазах уже не было. Несколько раз, безвольно открыв и закрыв рот, чтобы крикнуть или позвать кого-то, но, так и не сумев, матушка стала оседать на землю.

Тогда, что было сил, зарычал Кирик. Он думал – рык разорвёт его надвое, но вдруг стало легче. Тут же, ещё раз глянув на дуб, он увидел: дерево-крест оживает, даже хочет к нему, Кирику подступить ближе, почему и переступает потихоньку с пятки на носок одним-единственным, черновато-серебряным, изысканным сапожком огромного размера.

Живой, оживший крест в серебряном сапожке, покачивался перед Кириком!

Дерево подступало ближе, плотней, становилось раскидистой и удерживало теперь на своих ветвях всю дальнюю и ближнюю жизнь: с храмами, дворцами, площадями, подводными лодками, ручьями, реками, врачами, пациентами, военными служащими и

внимательными ботаниками, подносящими близко к глазам крупные чудесные жёлуди, без конца пробуя их на зуб, на вес, на вкус...

У дверей вдруг послышалось громкое урчание, кто-то, открывая дверь, дважды сладко рыгнул, и в палату, судя по звукам, потихоньку влез увалень Котов. Лёжа на животе, Юрчишин его не видел, но доктор тут же подошёл вплотную. Тогда-то и стало окончательно ясно: он, Котов. Поможет? Ещё поддаст жару?

Увидев на лбу у Кирика кровавой крест, доктор кинулся к шкафу для медикаментов, треснул ампулой, и бормоча: «Приговорил, приговорил-таки парня, Игнатий», - неслышной иглой стал медленно вводить в плечо больному какое-то лекарство.

Через полчаса малость полегчало. Котов ушёл, потом вернулся, отстегнул ремешки, крепившие руки и ноги к раме кровати, перевернул Кирика на спину, потом ноги пристегнул опять. Рукам стало легче, но адская боль от соприкосновения спины с матрасом, заставил Кирика взвыть в голос.

- Ничего, ничего, ещё одна инъекция и станет легче, - приговаривал Котов, - сегодня, ёкала-манокала, суббота, часа три ещё помучаешься, а к утру воскресенья – глядь! - и совсем полегчает. Сульфя, она не всесильна! На каждую сульфю у нас анти-сульфа имеется! Только ты вот что... Если Таисия или кто-нибудь из врачей начнут выпрашивать, что, мол, и как – не говори им ничего, - мычи, ёкала-манокала, как телок на бойне. Головой мотай и мычи! Ладно, лежи пока смирно. А там посмотрим, что это за воскресенье такое у нас наступит, что оно нам с тобой приготовит!

Сильно повеселевший Котов ушёл. Боль – теперь уже не на дубовых, на изящных Таисьиных ножках – потихоньку выкралась вслед за ним.

К вечеру воскресенья, пока отсутствовали Четвертак и заведующий отделением, дежуривший увалень-Котов, обильно смочил ватку спиртом, счистил с Кирикова лба остатки бурой крови и, приговаривая: «Не такой тебе крест, нужен, не такой», - здесь же в палате, скоренько заполнил нужные документы. После этого спустился на первый этаж и послал санитаря за матерью Кирика в город: больница располагалась километрах в десяти от него.

Когда матушка приехала, Котов дал ей подписать бумагу, о том, что она забирает сына из больницы на поруки и под свою ответственность. Потом написал ещё одно заключение, специально для военкомата и, весело приговаривая:

- Ай да воскресенье у нас выдалось, ай да воскресенье! - провёл через охрану закрытого отделения сперва мать, а вслед за ней вытолкал взашей и Юрчишина.

- Чтоб духу твоего здесь больше не было! А если сульфид в тебе снова возбуждать начнёт – вот таблетки, принимай по одной в сутки... Да слышь-ка? - схватил он уже на выходе у наружных дверей Кирика за шиворот, – раз Четвертак тебя кровью пометил, худо дело. Так что вали ты из города и побыстрей. У Четвертака клиентура обширная. Он им лекарсточки зацепистые из-под полы продаёт. И клиенты для него, ёкала-манокала, отца родного закопают, а не то, что тебя дурака! На, возьми. Из коры нашего древа познания, ну из дуба нашего, – вдруг застеснялся, как девушка, Котов, – сам выстрогал. Чем не крест? А?

Кирик сунул подарок в карман и, спотыкаясь, поплёлся вслед за матерью на автобусную остановку. Кусок коры напоминал крест отдалённо, но Юрчишин радостно сжимал его и сжимал. Осталось дожидаться автобуса и не попасться на глаза пугавшему народ затылочным горбом Четвертаку, если тот вдруг заявится в больницу раньше срока.

Сидя под дубом на любимой своей Швивой горке, Кирик ещё раз ощупал в кармане тот стародавний, крепкий кусок дубовой коры, напоминавший крест. Потом, чуть подумав, вернулся в зал.

Там повсюду распинались о нарушениях в области прав наркозависимых, допущенных в России в 2020 году. Над бледно-лиловой скатертью стола высился, как утёс, европейски признанный писатель со смутным дипломатическим прошлым. Со сдержанной гордостью, чуть задирая голову в сторону и вверх, трижды вспомнил он о пытках, которым, по его мнению, подвергают наркозависимых, не выдавая им порошка или травки.

Кирик резко встал и зазвеневшим от злости голосом спросил:

- 30-40 лет назад существовало такое лекарство сульфазин. Вам знакомо это название?

Признанный Европой уставился в бумажку, пошевелил губами, недовольно сказал:

- Видите ли, в перечне нарушений этого года такого лекарства нет. И что вы, прости Господи, к мелочам цепляетесь, Кирик Ильич? - буркнул уже раздражённо в микрофон любимец европейских славистов.

- Вот и я о том же, - ласково поддержал Юрчишин европейски признанного писателя, - о мелочах и ширяльщиках ушлых как раз говорить не стоит. Но ведь про войну лекарств, про шантаж фармацевтов и продажность медиков, рекомендующих всякую дрянь - у вас ничегошеньки нет. Так было когда-то и с сульфазинем. Про что угодно пели защитнички с утра до вечера. А про сульфид - молчок! А ведь сульфазин был, убивал, калечил! Может, и сейчас где-то применяется. Вы это узнавали? В больницы ездили?

Вижу, вижу, не до того вам! А тогда чего огороды городить вокруг ширяльщиков и торчил? Скажите о том, что сейчас важнее всего. Скажите людям, что правозащитой пора заняться всерьёз и по обновлённым российским рецептам. Помогите людям не на собраниях, в реальной жизни. Мне вот помогли – и я живу. И Создателя все по таким делам упоминать не годится.

- Вы хотели что-то сказать о нарушениях 2020 года? - почти закричал общепризнанный, - так говорите, говорите! Или дайте сказать другим.

- Я хотел сказать, что нарушения нарушениям рознь. И ещё спросить хотел: есть у вас личный опыт соприкосновения с корневыми, серьёзными нарушениями?

- Опыт? – европеец искренне удивился, - да ведь это я доклад про жестокое обращение со свободой слова в России составил!

- Вам что кто-то мешает болтать языком? Вы же про ширяльщиков тут болтаете? Ну и болтайте себе на здоровье! Свободы слова нет, когда ты от боли даже полслова произнести не можешь. Когда язык и разум у тебя есть, а распоряжаться ими ты физически не способен...

Признанный славистами писатель сделал вид, что Кирика не услышал и снова завёл нескончаемую песню, про тяжкую судьбу фаныжников и травокуров.

- Горько и неотрадно им, - возбуждаясь всё сильнее, вёл и вёл он своё, - мечтают они о полной раскованности и вопиют о ней, но... но... ни на гран её не ощущают. Даже в далёком далеке не чувствуют, что смогут быть теми, кто они есть! Что смогут потреблять всё, что захотят и где захотят! Как же быть им? В Амсер... в Амсер... - захлебнулся утёс, - простите, в Амстердам, что ли, бежать? Чтобы уйти от русской безысходности? Чтобы тоска по свободе глаза не застилала!

Нежно выбривая сволочь с дипломатической мордуленцией продолжала нести чушь.

Кирик, не сдержавшись, выкрикнул опять:

- Дурь, дурь им глаза застилает! Во рту и в жилах у них – анаша и герыч, а не свобода слова! Ты хоть краем глаза наркопритоны видел? В психушках хоть на экскурсиях бывал? Не торчил защищать нужно, а... а... а ратников праведности. Тех, кто ценой своей, а не чужой жизни, отстаивает незабвение и справедливость. Вот потому-то я и хотел рассказать про серный анти-крест, про дьявольский правёж сульфидов, про бурый крест на лбу, про негодяев и превосходных людей, которые всегда были, есть и будут! А ещё хотел сказать про болванов, которые гундят о том, в чём не смыслят ни уха, ни рыла!

Под одобрительный ропот защитников наркосвобод Кирика вывели вон.

Уходя он слышал, как признанный славистами писатель возбуждённо говорил про Толстого, который никогда не воевал с Наполеоном, про Пушкина, который не был в Италии и Греции, про гнусно отравленного «героя нашего времени» на букву На. (Утёс, млея, так и сказал: «на букву На»). Про поголовную склонность всей сегодняшней России к жесточайшим нарушениям прав и свобод продвинутой части общества.

- Наркозависимые тоже люди, - вопил всеевропеец, - и ограничение их прав обязательно громыхнёт громом в самом недалёком будущем...

Тут вперебив всеевропейцу, Кирик вспомнил другого, уже абсолютно мирового классика.

Двадцать лет назад, здесь же, на Швивой горке, классик слушать рассказ Кирика про сульфур-серу не захотел. Ему в тот миг страстно хотелось прикрыть словами от расстрелов преданных когда-то им же самим, но от этого ещё сильнее любимых косоваров.

- Косовар-ры мои, косовар-р-ры! – кричал в камеру внезапно прозревший классик и протягивал руку в далёкие мировые пространства, - издалече уберегу вас!

Движение классика сильно походило на ульяно-ленинский жест. Правда, была и разница. Мировой классик, презиравший, но и побаивавшийся неугомонного вождя, сидел в кресле, а не стоял, и пальцы его указывали в даль времён как-то кривовато, коряво...

Здесь, под пальцами классика «публициски» и зашевелился снова, как головастый червь, доктор Четвертак, с огромным затылком, напоминающим выпуклость дамской полужопицы, замахали кулачищами санитары Румын и Глотка, заплясал, словно палимый снизу медленным пламенем, ошипанный гусь майор Лупнёв...

Теперь, - как и тогда, - Кирик спешно покинул здание. Выйдя на улицу, достал беломорину, закурил, сразу загасил о подошву, выбросил.

Ему хотелось здесь же, на улице, вложив прошедшую жизнь в одну фразу, крикнуть разом про всё: про серную боль, про исчезновение этой боли в ветвях могучего дерева, про медсестру Таисию и её нестерпимо сладостную походку.

Но зубы не разжимались. Слова не хотели из нутра выходить наружу...

Больше про сульфазинный крест Кирик нигде никому не рассказывал.

Молодым - объяснять не хотелось. А тех, кого рассказ этот мог продрать до кишок, давным-давно не было на свете.

МОСГАМ

Симфония слов

Звенит, не умолкает московская речь! Ясная, меткая, возносящая к небесам, атакуемая вредоносными вирусами и побеждающая их, - наплывает эта речь музыкой колоколов, втягивает в свой круговорот и преобразует в нём слова чужеземные, а слова архаичные насыщает новым, углублённым смыслом!

Образ речи – один из ключевых образов Москвы. В этой речи - наша жизнь сегодняшняя и жизнь будущая...

Трамвай номер 49. Иногда отправляюсь на нём из Нагатинского затона до Шаболовки. Еду, чтобы послушать московское просторечие. Здесь в Замоскворечье истинно московские слова – и новые, и прежние - ещё звучат. Каждое слово – маленький рассказ, даже небольшая речевая симфония. Важно, конечно, кто слова произносит. Но и само по себе слово, отпущенное на волю, уже без участия отпустившего, укрупняется, растёт, выводит на сцену жизни необычные сюжеты.

Имя такому просторечию – МОСГАМ. Это многоликое, ласково-занозистое облако с миллионом глаз, миллионом рук. Гам – ласкает, гам бьёт по мозгам!

Вот бабища лет сорока, красные щёки, лицо шире плеч, ботинки мужские. Хотя народу нет, входя в трамвай с кем-то намеренно столкнулась, заполошно крикнула:

- Я баба торговая, боевая, меня не трожь!

Чуть повертевшись на новеньком трамвайном кресле, начинает громко тараторить, вроде по мобилке, но явно для всех:

- А сёдни я выходная. Зато вчера таку цену за баранину заломила, - хоть стой, хоть падай. А брали, брали. И завтра заломлю!

Исконное московское «заломить», словно коричневый, с красными прожилками, мотылёк летает по трамваю. Весна, мотыльку хочется на улицу, в базарные ряды, на сладкую пыльцу. Так и кажется, сейчас мотылёк вырастет до невиданных размеров, выдавит стекло, улетит на волю...

Тут открывается дверь, мотылёк исчезает, с ним и словцо «заломить».

Лысачок в ядовито-зелёном пиджачке, достаёт платок, промокает плешь, говорит громко:

- Цену проезда скостить бы за такую медленную скорость!

Полупустой трамвай всё стоит перед светофором. Слово «скостить» вместе с чьей-то крупной роговой пуговицей летит на пол. Звук тонкий, звук костяной услаждает дробностью и мгновенно отсылает к старой Москве.

- Хватит тут «вякать», - это паренёк молоденький, из рабочих, - а то бабосов нагрёб, а всё в трамвае ездешь. Мерин твой розовый, что ли, сломался?

Слово «мерин», исконно-московское, ещё XV века. Лет двадцать назад оно вдруг поменяло содержание и презрительно «опустив» величавый «Мерседес», снова на какое-то время стало в Москве ходовым.

В трамвай входят двое инженерно-технического вида: внимательные глаза, тонкие, цепкие пальцы.

- Замысловатый чертёжик вышел.

- Да уж куда замысловатей. Какой-то «чертёж времени», ей-богу!

Слово «замысловатый» – опять же московского происхождения. Оно, конечно, за время своей жизни несколько раз меняло акценты, но основное значение – наличие прихотливого замысла – в нём осталось. Слово это как узор на драгоценной шкатулке: сперва ничего не ясно, а присмотришься – хочется до ореховой шкатулки любовно дотронуться щекой, так расслабляет связки и узелки души её узор.

На очередной остановке, в опустевший почти трамвай – водвигается чья-то рука в когда-то жемчужном, а теперь буро-сером рукаве. Рука крестит трамвайный салон. Вслед за крестным знаменем появляется сухонькая дама. Именно дама! Таким бы дамам как раз на розовых мерсах ездить, а не галошки по верх сапог с обломленными каблуками обувать.

- Печальник-то наш – помрёт, - негромко обращается дама к полупустому вагону.

Потом видит торговую бабу и, подойдя ближе, обращается уже прямо к ней:

- Нет его теперь.

Баба торговая вместо сочувствия регочет:

- Знаю, про какого святошу ты байки трaviшь! На Затонке он жил, местный. Да у него бабья было больше чем у тебя крючков на лифчике!

Сухонькая дама устало прикрывает глаза, молча разворачивается и на следующей остановке выходит.

Оглядываясь, вижу: промокая платочком слёзы, смиренно ждёт следующего трамвая.

- А чего? – (Торговая баба недовольна: рано сошла сухонькая), - чего, я вас спрашиваю? Все они мужики такие. А те, что под святость косят – и совсем дрянь!

Не наблюдая сочувствия среди трамвайных, торговая начинает быстро махать перед носом руками и покрикивать: «Фу-фу-фу! Как не стыдно, а ещё в костюме. Злого духа пустила и сразу вон! Для того, видать, и входила».

На следующей остановке – сразу трое спортивного вида ребят. Молодость, молодость...

- Я его подсёк! Он на асфальт шмяк! Теперь за параолимпийскую сборную выступать будет. Анекдот слышали? Присылает Путину письмо наша хоккейная сборная. Мол, так и так, проиграли канадцами. Но впредь будем шибче стараться и к следующим соревнованиям мал-мал подготовимся... Тут Путин Мишустина и спрашивает: «Когда у нас крупные соревнования? – Да вот, скоро Параолимпийские игры. – Подготовить эту хоккейную сборную к параолимпийским играм!..» Вот и Витюне, которого я подсёк, теперь тоже один путь: в параолимпийцы!

Подсёк, подсёк! Ребята спортивные и не догадываются, как властно и веско, это рыбацкое, увёртливое, всплеснувшее впервые на берегах Учи и Клязьмы слово! Исконно московское, вобравшее остроту взгляда и решимость местных жителей...

Образ речи – одухотворяет толпу. Толпа творит внешний город. Внешний город тянется к городу внутреннему: потаённому, спрятанному в языке, в мыслях. Внутренний город рождает страну. Московское княжество было сильно не только военными успехами, но и кинжальной остротой речи. Речи победной, улаждающей, устроительной!

Теперь не так... Мыслей в речах мало: стёб да стёб кругом. Склонность к ломанию дурака (не сказочно-мудрого Ивана, а дурака слюнявого, шепеляво-плюгавенького) иногда доводит до слёз. Язык насыщается посмеюнством ширяльщиков, хохотом дьяволиц. Всем, чем угодно – лишь бы не было «серьёза»! Как тут не вспомнить стихи?

*Ломаем дурака
Под трепетную тенью,
Под ледяной персидскою сиренью
Под слёзною Поклонною горой.
Нам год, что грош.
И не в новинку дрожь...
На сбитой скатерти посвечивает нож,
Лук и чеснок, две блузки, вилка, брошь
И прочее: всё то, что есть весной.*

Сбегают козочки. Их ловят козолупы.

*Блистают спины все. И сладостно и грубо
 Дрожат над осыпью налившиеся клубни
 Чумного воздуха, свинца и табака...
 А по небу проходят облака,
 Похожие на кованные перья,
 С них набегали пена и веселье,
 Сады, века, водоворотов пенье...
 С них может набежать беспамятство и смрад,
 Не-зарождение, не-красота, и Марс
 Пройдёт, гремя, через посты земные:
 Несуществующие, тихие, пустые,
 Лишённые разметок и оград...*

Новая остановка. Входит остроголовый человек с бабочкой на шее, в женской вязаной кофте. Чучело – иначе не скажешь. Неуклюже спотыкается, встаёт на ноги, снова падает. Ну, тут всё ясно! Длиннейшая юбка, как у гувернанток позапрошлого века, на бёдра натянута. Чучело беспокойно шевелит плечами, подёргивает спиной. Проходит вперёд. На спину остроголовому кто-то прицепил изготовленную из чёрных медицинских масок летучую мышь.

- Сними мышака, - кричат ему, - сдёрни!

Остроголовый от смущения мало что понимает, начинает стаскивать юбку, на миг замирает, юбка сама падает к ногам. Розовое бельё, уханье, свист.

Остроголовый кидается к выходу, мышь медицинская распутив крылышки, на верёвочке за ним волочится... Тут очередная остановка.

- Фома поспешил, да людей насмешил – увяз на Патриарших, - лукаво щурится нестарый ещё крепыш, с карандашом в нагрудном кармане, - а публика у нас в трамвае, – уже тише добавляет он, – хуже, чем былая «садовая публика». В конце XIX века такая публика в Москве появилось. Коротала время в увеселительных садах с недорогим пивом, дешёвыми развлечениями, пошловатым флиртом. И чаще всего в саду под названием «Чикаго». Пуще всего жаждала та публика плотских и гастрономических утех. Ну а публика нынешняя, чаще манерничает и одного пиара ищет, - обиженно, уже себе под нос, бурчит крепыш.

Тихо радуюсь: «Молодчина, умница, знает, что поговорка про Фому, появилась в Москве в то время, когда Козье болото только-только переименовали в Патриаршие

пруды, и болото ещё чавкало, кое-кого и засасывало. Когда болото до дна осушили - вторая часть поговорки, ясное дело, отпала».

- У нас хоть и не Патриаршие, а тоже места такие, что можно в липкой тине по шею увязнуть, - внезапно вступает шамкающий и всё пытающийся вскочить на ноги старичок, - у нас почище дела...

Деваха, с ним рядом сидящая, закрывает старичку рот ладонью, шипит по-змеиному:

- Молчи, занудище...

- Молчу, молчу, попка моя золотая!

- Рыбка, рыбка я, старый дурак, - понижает голос до шёпота деваха.

- Я ж и говорю: рыбка-то рыбка, а щупальца, как у медузы.

- Нет, вы только гляньте! Всё у него шиворот-навыворот...

Разница в возрасте – полстолетия. Деваха, видно, та ещё: грубо крашенная, выворачивающая напоказ свои прелести.

Но старичок деваху уже не слушает, вскакивает на ноги окончательно:

- Говорит, из Керчи приехала, а про Медузу Горгону не знает. И что такое шиворот-навыворот не понимает. Так я при всех, молодой человек, – обращается он уже прямо ко мне, - скажу ей! Шиворотом на Москве издавна назывался расшитый воротник боярской одежды. Знаком достоинства такой воротник был. Мой предок его носил! Во время Ивана IV боярина, прогневавшего царя, одевали в одежду, вывернутую наизнанку! Вот я ей дома платье наизнанку и выверну! Я ей...

Трамвай тормозит, влетает, раскинув крылья чёрного пальто, средних лет гражданин. Мордочка, как у нетопыря, тёмненькая, узкая, рот раззявлен, из ушей - дым, шарф вокруг шеи и шипастая роза в руках.

- Чё примолкли, маралы? И вы кошёлки, чё языки попрятали? Боитесь, шипами израню? То-то же, - взмахивает он жёлтой розой.

Раньше таких звали трамвайными хамами. Сегодня зовут - отморозками. Хотя чисто московское выражение «трамвайный хам» - точней, отмашистей. В 20-е годы XX века выражение это всю трамвайную Россию заполнило до краёв, именно тогда так стали называть охламонов, в общественном транспорте безобразивших. Живёт это словосочетание и до сих пор.

- Всем сидеть тихо! А то заблюю пальтишечки ваши!

Хам бухается в кресло, достаёт из кармана банку с пивом. Но замечая, что поднялись три мужика, пиво прячет и на следующей остановке потихоньку трамвай покидает.

Целых десять минут – тишь, сопенье, покашливанье.

Может, никогда так выразительно пуст и так взрывчато говорлив не был московский трамвай, как в дни пандемии и всеобщего домоседства!

49-й замедляет ход. Конечная, Шаболовка. Таинственная Шуховская башня, словно уставленный в синеву колодец времён подступает. А тут зайца поймали. Правда, не в нашем трамвае. Не дают зайчику выскочить, втроём руки раскинули, как изгородью огородили. Молоденький контролёр поёт петушком: «Все зайцы – козлы!» Две здоровые, но вяловатые тётки-контролёрши петушку поддакивают.

Спешу вмешаться, но не успеваю: заяц - немолодая, однако прыгучая и далеко не пенсионного возраста «зайчиха» – даёт дёру.

Хорошо бы и вернуться домой на трамвае! Но голова уже переполнена московской симфонией слов, иногда перерастающей в шумливый и слегка безалаберный МОСГАМ. Поэтому вызываю такси.

А тем временем продолжает набегать на меня острыми ветерками живительная речь Москвы.

Речь - новая мировая стихия, не менее значимая, чем воздух, земля, огонь. Речь московская по-особому музыкальна, многоритмична, полна историй и притч: иногда юрких, коротких, иногда глубоких, продолжительных. Проступает и вовсе неведомый персонаж: МОСРУС.

МОСРУС – это свободный, соборный, возникающий из личностно-хорового начала язык. Именно в его сердцевине вспыхивают все новые замыслы, рождаются все новые дела, формируются новые характеры.

Время – характеры обтачивает. Любой государственный строй то лечит, то калечит. А окончательно формирует личность человеческую – личность языковая. Новый этот язык, новый МОСРУС и характеры оформляет новые. К примеру, такие:

Сверхискренний - сочетает поразительную наивность с действенной добротой. Из-за доброты попадает в неудобные истории, но выходит из них, светясь от счастья.

Антипартиец - проникшись отечественной историей, ни за какие деньги никакой партии служить не станет. Только личные усилия. Но они – до сладостного изнеможения.

Инакотерпимый - это отнюдь не «терпила»! Он просто знает: каждый народ идёт к Богу своей тропой. И она священна не только для этого народа, но и для всех других.

А вот МОСГАМ частенько рождает характеры совсем иные:

Слухоплёт - сам запускает слушок и сам на первой же на тусовке спрашивает: «Слышал? Нет? Так я тебе расскажу».

Мозгомой – бледно-серый от болезненного стремления к показухе и пиару, без конца пристаёт: напиши про меня! И бородку пощипывает, и от предстоящего дурилова глупеет окончательно!

Галдун-сутяжник – этот, галдя, жалуется на всё: на собственную кошку, на власть, на безвластие, на погоду, на Всевышнего, а главное на судейских, не дающих его кверулянтству развернуться во всей красе.

Себяшка – тут на уме лишь одно: сэлфи, сэлфи, сэлфануть, сэлфануться!

Но ведь МОСГАМ с его сором и даже порчей характеров порой просто необходим! Без просторечия – никак. Именно просторечие - преграда дикому иноязычию, которое скоро дожрёт язык наш до конца, даже косточек не оставит!..

Вдруг поперёк этих мыслей - сосед-сутяга.

Поэтому быстрее, быстрее на такси!

Таксист болтливый попался. Хотел вызвать другого, но решил-таки болтовню дослушать.

- ... сегодня с утра «сизый» до изумления клиент попался. Двух слов связать не мог. Ну и пошло-поехало. Не мой сегодня день, видать! Вот слушай: утром поворачиваю голову – глядь, на обочине кукарь стоит. Бомбила-частник хотел его подхватить. Я опередил! А чё? Зэ-зэ – ну, по-вашему, заказа нету. Я и взял кукаря на обочине. А он оказался «метровый». До метро, мол, меня подкиньте, а дальше – ни-ни. А оно мне надо до метрa возить? Не довёз, высадил, сказал дальше нельзя. Но кукарь бултыхаться не стал: всё равно заплатил. Тут - зэ-зэ. Рванул от радости, не включив навигатора. И в Лимпопо заехал. По-нашему, заблудился в незнакомом районе. Но оказалось не зря! Попался пассажир с наваром, мы таких называем «жирдяй». Правда, после него «вонючкой» пользоваться пришлось.

- Скуснса с собой возите?

- Какого такого «куснца»? А брызгалкой-«вонючкой» и тебя могу сбрызнуть.

Я отказался.

- Да ты, вижу, «диплодок»! Ну, то есть, при Брежневe вырос. Ладно, не обижайся. Вижу: не мозгоклый ты.

- А это ещё, что за зверь?

- Так мы, таксисты, клиентов, требующих особого внимания, зовём. А с Брежневым, говорят, поспокойней было. Сейчас-то одни встряски. Вот и вчера: «Арамобиль» с «Яшкадрочером» столкнулись. Что было! Клоуны, стригуны, продавцы полосатых палочек, телепузики с феном, платные консультанты, - короче, ГИБДДэшники

понаехали. Жезлами тычут, Арамобиль чуть не бархотками протирают, на Яндекс-дрочер наезжают всем скопом. Но водила-армянин из Арамобилия нормальный попался. Подошёл ко мне: «Извини, браток, что и тебя в это дело втянули. Я «пионера», ну, то есть пацана без сопровождения, везу. Такой попался - хоть из тачки выпрыгивай. Видно родным-то не слишком он пригодился. Из-за него в аварию я и попал...»

Короче, поговорили по душам, разъехались. «Клоуны» чвакалки свои включили и тоже слиняли. Один Яшкадрочер на дороге остался...

Подъехали к дому.

- Получите, - говорю, сколько положено, - только язык кончайте ломать, а то пошее наkostenять могут.

- Ладно, не обижайся! Хочешь, полцены с тебя возьму? Чтоб ты понял: не совсем «чунга-чанга» я. У нас, когда вину признают, говорят: мол, чунга-чанга я. Только я чунга – наполовину!

Выйдя из такси, я запечалился. Океан московский речи, то убывал, то прибывал. Волны его несли мысли радостные и не очень. Например, такие: русский язык в XXI веке не является больше саморегулирующейся системой! Его регулируют, набивают трухой и сором - извне. Нужно помочь языку! Ведь именно в русский язык, в его развитие были вложены лучшие силы страны. Язык наш громаден в запасах. Глубок. Таинственен. Богоугоден. Космичен!

Пришла и такая мысль: МОСГАМ не враг русскому языку. Не схож он с открытой агрессией иноязычия! Нужно лишь принять участие в разумно-талантливом регулировании МОСГАМовского просторечия, сделать его инструментом ежедневного словотворчества!..

Создавая мир, Творец поручил каждому народу довести до степени совершенства одну важнейших стихий мира – язык. Исполним ли поручение? Или снова услышим: «Предки работали – мы отдыхаем».

Языковое нерадение подобно вечной смерти. И наоборот: язык, передаваемый от одного носителя к другому не только подобен вечной жизни, а, по сути, и есть вечная жизнь: её новое вещество, новая стихия.

Береги образ речи, Москва! Укрупняй-укрепляй его. И тогда встанет во всю ширь – главней и выше царей, генсеков, чинуш и англозависимых долдонов - налитанный невиданной мощью будущих замыслов и дел – ЯЗЫК-ИСТОРИОТВОРЕЦ!

ИЗДЁВОЧНЫЙ СЛУГА

Рассказ

«На Васильевском острове близ биржи в квартире у трактирщика Карла Цедера можно видеть курioзный фонарь, который охотникам показывать будут ежедневно по вечерам с начала до исходу 9 часа, а за смотрение сего фонаря каждая персона платить имеет по 10 копеек... Охотникам объявляется, что оный фонарь продан быть имеет».

Выйдя на безлюдную ночную улицу и лихо проехавшись по декабрьской наморози, приземистый человек, в чёрном морском бушлатике, припомнив словечки из только что украденного старинного объявления, улыбнулся.

«И объява – в жилу. Правда, переделывать её надо. А вообще, для хорошего балагана не волшебный фонарь – другой реквизит нужен!».

Свернув трубочкой объявление, наклеенное на пивной картон, поддёрнув висящую на плече парижскую матерчатую торбу с чем-то громоздким, приземистый уже осторожней, с оглядкой потопал на автобусную остановку.

Посмеюн

Рим его звали, Рим! Грубо-кабанья черная с рыжинкой щетина на подбородке при поворотах головы колко взблѣскивала, ёжик редких волос не скрывал мелких ямок и горбиков черепа, серо-стальные глаза то мертво останавливались, то начинали быстро вращаться. Но самое главное – вывернутые наружу ноздри! Они жили своей отдельной жизнью: когда надо встречных-поперечных пугали, когда надо детской своей беззащитностью притягивали. Уф-ф! Научился всё ж таки кой-чему, продавая утюги с торшерами! В том числе - из-за коротких ног – незаметно подниматься на носки, а при обнаружении опасности прятать неправдоподобно белые, изящные, как у молодой девушки, кисти рук в карманы бушлатика, или – по сезону – куртки-плащовки.

Имя и вид его вызывали безостановочный смех. Рима это, однако, не угнетало. Скорее придавало радостной упругой злости. Утешал себя:

- Лучше самому смеяться и разрешать другим, чем хлюпать носом! Постарею – ржать перестану.

Но с годами дурносмешество не проходило. «Наказание мне, что ли, сверху спущено? Или с головой что-то не так?» - Спрашивал себя часто.

Он продолжал смеяться: всегда, над всем! Во всём серьёзном или страшном видел лишь повод для глумливого хохота. Капельками ошпаренной, сбитой с панталыку души вылетал этот смех! Комочками слизи и сладкой боли падал в белую фаянсовую раковину дня.

Но, в общем и целом, выходило так - насмешки над сущим наполняли его жизненной силой по самое горлышко. Горлышко булькало, жизнь текла, тоска скрывалась за дверью. А ещё собственный смех - быстро-ухающий, при конце чуть подвизгивающий – хорошо развлекал. Заражал такой смех и других.

Один шибко-грамотный человек, с которым лоб в лоб столкнулись в библиотеке, где Риму сперва не хотели даже показывать, а потом дали-таки почитать старинные комедии, выказывая дружелюбие, сказал:

- Ты, голуба, капля в каплю, «издёвочный» слуга! Как словно из XVIII столетия к нам прибыл.

Слова шибко-грамотного Рим запомнил с ходу. Стал над словами этими, записанными на клочке бумаги, кружить вороном, вглядываться в них стал и внюхиваться. Нюхом эти слова рассекречены и были: пахли они вялым виноградом и ещё чем-то укусным, женско-порочным, неотступно манящим!

До колик и судорог захотелось Риму «переодеться» в век восемнадцатый! Даже не переодеться - завернуться в него с головы до пят, как в офицерскую епанчу. Чтобы получить, наконец, - вонзилось в него вдруг сладкой дрожью, – великую разбойную свободу!

Полгода назад, надышавшись пьесками петровского времени, а потом и переводными австро-немецкими, - решился Рим поменять судьбу. Не без труда, а поступил-таки в Смеховой народный театр «Шумигам», или как звали его завсегдатаи: Театр Двойников на Лиговке. Когда-то Рим учился в Москве, в ГИТИСе. Взяли туда случайно, как въедливо заметил худосочный председатель комиссии – «исключительно за сходство с Костей Райкиным». Но институт вскоре был заброшен, театральные дела похерены: Рим переехал в Питер. Зачем? Чего-то морского, пиратского захотелось. Правда, тогда же и к морю поостыл, устроился коммивояжером. Работа нудная, канительная. Но даже она дурносмешества не убила: семьи – нет, родственников – нуль. Никого – нигде! Ржач, да и только!

Роли в Театре двойников, прозванного так завсегдатаями, из-за того, что в нём по прихоти дирекции собрали сразу нескольких актёров сильно напоминавших Калягина,

Гафта, Певцова, а теперь и младшего Райкина – достались Риму мелкие: принеси – подай! Двойники иногда собирались вместе и после настоящего спектакля показывали в полутьме – свой, пародийный. Один катался по сцене мячиком-Калягиным. Другой - подгавкивал и читал сочные эпиграммы про Михалковых, как Гафт. Пел с подхрипом под Высоцкого актёр, схожий с Певцовым. А сам Рим откалывал смешные штуки, как Райкин-младший. Сюжет спектакля двойников был прост: кто переживёт всех?

– Я, братцы! – тихо вскрикивал калягинский двойник.

- Йа, Йа, Фасылий Иванович, - передразнивал его двойник Певцова.

- Пшли вон, мухоеды, - отбивался от назойливых лобызаний псевдо-Гафт.

- Труф-туф-туф! Труффальдино, Уффальдино! – бесстыдно-насмешливо орал Рим, дерзко перебивая Райкина-младшего.

Про ночные - без зрителей – спектакли узнала дирекция. Пародировать знаменитых актёров строго-настрого запретили.

Прошло полгода. До роли издёвочного слуги добраться Риму так и не удалось. Но это не обескуражило. Повторяя чужие понравившиеся тексты, веселил он себя за кулисами как мог. В театре ему жутко нравилось. Хотя денег – две консервные банки, плюс дыра от баранки.

Тут, однако, сломалось и это мнимое благополучие. Однажды в театре произошёл случай: толстенькому, до смешного грустному и трогательно похожему на Калягина актёру, в спортивный кубок, необходимый по ходу спектакля, влили какой-то гадости. Актёр, шатаясь, со сцены ушёл, и через десять минут за кулисами умер. Виновных не нашли. Как-то дружно определились – и следовательно это подтвердил - актёр уже явился на спектакль пьяным и отравленным.

Рим, видевший, как одна из актрис долила чего-то в спортивный кубок, сперва стоявший за кулисами на специальной подставке, а потом вынесенный на сцену, на дознании все вопросы прерывал грубым смехом и ничего следовательно про актрису не сказал. Но на отпевании не сдержался, произнёс вслух что-то едкое. И тут же – правда, в кулак – прыснул со смеху.

- Эт-та ш-шта за посмеюн тут у нас завёлся?

Подкравшийся сзади директор театра, клопоча слюнями, обрушил на Рима весь свой управленческий гнев и на следующий день актёра-двойника с треском из «Шумигама» выпер.

Рим и Зенобия

В отместку Рим забрал с собой старинную объяву, хранившуюся в крохотном театральном музее. А вдобавок унёс разбитый, не используемый в спектаклях волшебный фонарь. Поставил фонарь дома на видном месте и стал чинить. У фонаря имелась история. Рим прочёл её там же, в театре, на валявшейся под креслом табличке. Волшебный фонарь оказался точной копией того, который приобрел падуанец Джованни Полени для кабинета физики своего Падуанского университета в 1753 году.

- Подумаешь, падуанский падуанец, макаронский итальянец! – притворно негодовал Рим, - велика важность - «особенный образец магического фонаря»! Обосраться и не жить: а то мы не видели восьмиугольных башенок из ореха. Ну, установили фонарь на лист железа. Ну, запихнули внутрь зеркало и масляную лампу. А мы зеркало сдвинем! И лампу тоже. Начнём их двумя торчащими железными стержнями шевелить. Пусть фонарь нам послужит. Отремонтируем и в дело пустим! Ишь ты - объективчик-то плоско-выпуклый в латунную трубку засунули, денежек на сплав не пожалели. Умора...

Но вскоре Рим из-за неожиданной мысли починку забросил:

- Чего с фонарём возиться? Безо всякого фонаря издёвочным слугой прямо в жизни можно заделаться!

Из театра его турнули в декабре, а запоздалая мысль явилась весной, которая втихоря уже слонялась по питерским переулкам.

- Помогать кому-то, даже прислуживать! – размышлял, шлёпая босыми пятками по линолеуму, повеселевший от весны и ознобистых мыслей Рим. - К этому вся жизнь наша и катится! Так чего ж тогда этой уморительной жизни сторониться?

Подруга Зенобия, из чернокожих, - та, что подлила толстенькому, схожему с грустным Калягиным актёру какой-то гадости и вытуренная вслед за Римом из театра - мысль его одобрила. Жить Зенобию он пригласил к себе в квартиру через неделю после ухода из театра. Встретил на улице и пригласил. Во все свои дела и мысли пока её не посвящал, но кое-что, конечно, рассказал.

Отдыхая от «Шумигама», он ещё раз перечёл несколько старинных пьес, подобрал в сэконд-хэнде подходящую клоунскую одежонку и попытался наняться шутом или слугой в богатые дома-усадьбы.

В основном - гнали. Правда, в одной из каменноостровских резиденций богатенький буратинчик вроде заинтересовался. Каменный остров, этот рай на земле, с лиственными вековыми деревьями, с необычными, современными, но не оскорбляющими душу светильниками, притягивал его, кроме прочего, вольным водным простором и

резкой отграниченностью от остального Питера. Рим понимал: «обычному» богатею сюда не пролезть: стоимость «квадратов» - сумасшедшая.

Буратинчик безносый вышел сам, отстранил загородившего дорогу охранника, тронул чёрную повязку, закрывавшую носовое отверстие и, выслушав Рима, с хрипотцой выдал:

- Так ты шутишь или издёвочный слуга?

- Говоря по правде, - издёвочный.

- Это как при Петре Первом, што ль?

- Ну да... Вот, извольте видеть!

Рим упал на одно колено, выхватил из кармана плащовки тюбетейку, потом сделал кувырок вперёд, оказался за спиной у буратинчика, снова вскочил на ноги и ловко напялил тюбетейку на голову охраннику:

- Гляди, какой урюк у тебя тут созрел! Умора...

Буратинчик захохотал: охранник и впрямь стал похож на толстогубого и толстощёкого азиата.

Не давая буратинчику опомниться, Рим выхватил из-за пазухи живого ужа и поднёс к своему рту. Фокусам с глотанием змей он обучился ещё в Москве. Делая крупные глотательные движения, опускал ужа потихоньку себе за пазуху.

- Ну, теперь одна твоя домашняя змея, у меня за пазухой.

Буратинчик даже крякнул. Сам того не зная Рим, видно уколол в болезненную точку.

Богатенький-пребогатенький позвал Рима в дом, налил вискаря, стал расспрашивать про жизнь-бытьё. Тут Рим возьми, да и ляпни: про Театр двойников и про актёра, который умирая, смешно корчился за кулисами.

Это буратинчику не понравилось. Видать, что-то напомнило. Богатенький омрачился.

- Ты вот што: приходи завтра. А пока - держи пятихатку за представление.

Назавтра Рима в усадьбу не пустили, сказали: Орест Никифорович уехал, и больше к нему приходить не следует.

Кручинился Рим недолго, потому как вновь его осенило:

- Что если прислуживать кому-то за харч вдвоём? Помнишь, румба такая была – «Чай вдвоём». А тут - «Харч вдвоём». Тоже театр ведь! Ты да я, да мы с тобой. Такое, думаю, и не слишком богатые осият. Туда ведь всё катится, туда! Или ты услужаешь, или - тебе. Ничего кроме этого не осталось. Пока что мы с тобой услужать будем. А там, глядишь, и нам услужать начнут. Так или нет, чёрненькая?

Зенобия мысль одобрила.

Эпоха катила мимо Рима и мимо Зенобии, на инвалидках, квадроциклах, на «ауди» и «порше». Сменялись декорации, уходили старые проверенные питерские режиссёры, приходили режиссёры скоробогаемые, наводняла театры и улицы новая суматошно-бздюхливая массовка.

Время двигалось неравномерно, ткань его становилась рваной, лоскутной. Но время и приманивало разными разностями: туго набитыми кошельками, заполошными новостями и проч. Время растягивалось в длину и ширину, липло к зубам и дёснам, как полу-разжёванная ириска-тянучка, которая одна только с детских лет Рима из равновесия и выводила.

Но в сердцевине своей время не менялось: так же, как при Петре Алексеевиче, играло фейерверками, сверкало женскими голыми попками, мелькало дурацкими колпаками, погромыхивало пушечками: и потешными, и всамделишными.

Тут - внезапная перемена.

Рима нанял слугой мутный сосед по фамилии Дрекун. По виду совершеннейшая вошь, правда, вместо трёх пар ног – две тоненькие палки. Вшиво-плешивый, ещё и шепелявый, Дрекун вызвал Рима в коридор и объяснил, что к чему.

Вернувшись к себе, Рим, не так чтобы сильно, но прилично после каждой фразы ухохатываясь, объявил:

- Будем с тобой опять коммивояжеры! Ах-ха-ха, ах-ха, ах-ха! Короче, сбытчиками услуг. Ну, вздрогни! Продавать услуги по дезинфекции от тараканов питерских домов-квартир будем. Причём сбытчиками будем не телефонными, а разъездными. Ах-ха-ха. Ах-ха. В эсэмэсочные игры никто уже не верит.

Смеялся Рим заразительно, широко открывая рот. Смеялось, казалось, и всё его тело.

- Иа дома буду жить, - насупилась вдруг Зенобия, - тараканы меня ещё в Африке задолбали.

- Ладно, живи, - расщедрился Рим, - бумажки будешь нам оформлять, - ты ведь у нас африканочка грамотная?

- А то. Если хочешь знать, иа в Питер марксизм-ленинизм понимать приехала.

- Ну и сиди себе дома, марксистка ты моя африканская...

- Зашибись! - Поблагодарила актриса Зенобия. И ловко, на раз-два-три, стащила через голову зелёное платье.

Тёмное, голо-оливковое тело заблистало на изгибе торшерными огоньками.

Через минуту Рим пристроил Зенобию на уголке дивана, и, ритмично двигаясь, стал вполголоса повторять одну и ту же частушку, слышанную от своего деда-парторга, певшего её в моменты наивысшей ненависти к позабытому многими, но не дедом, Никите Хрущову:

*Прощай скука, прощай грусть,
Я на Фурцевой женюсь!
Буду тискать сиски я
Самые марксистские!*

Подхватив частушку на лету, Зенобия тут же решила внести её в свой конспект по марксизму-ленинизму, уже лет десять валявшийся на самом дне её плетёной пляжной корзинки, типа African Zulu basket.

На следующий день Дрекун стал Рима учить-наставлять:

- Подъезжаем, берём задаток наличными. У целой организации, я договорюсь. Только гляди, не испорти дело!.. Значит так: я вхожу в медицинском скафандре. Они передают предоплату. Вдруг ты у меня выхватываешь бабосы – и дёру! Только пути отхода заранее просчитай. А я им: был ассистент, как ассистент, а тут, блин, ограбил!

Риму такая перелицовка действительности не понравилась. Но всё-таки один раз попробовали. Получалось – не очень. Рим, конечно, убежал, но Дрекуну надавали по шее. И пообещали: если денег не вернёт – через сутки утопят в Малой Невке.

Риму хотелось другого: ласковых издёвок и острых подколов, а не воровства и рублировки!

Тогда Дрекун придумал действовать иначе. Назначал встречи тёмным личностям в светло-кофейных костюмах, и перед тем как, сделать очередное сногшибательное предложение, небрежно кивал на Рима, стоящего поодаль навтыжку:

- Мой услужанец примет у вас деньги на предварительные расходы.

Однажды Рим поправил Дрекуна:

- Не услужанец, и не услужник. Издёвочный слуга я, слышь?

- Да им это всё едино. И потом – какая тут разница?

- А такая. Издёвки я кидаю всем: бедным, богатым, тебе, всему миру.

- А чё б тебе над обезьяной своей не поиздеваться? – стал заводиться Дрекун.

- Животное обезьяна - издевательств не заслуживает. Ты б лучше, Дрекун, над собой поиздевался. Тогда и узнал бы, что почём.

- Это чё это я должен над собой издеваться? У меня, может, в банке - лям зелёных.

- Нет, ты попробуй, поучись издёвочному искусству. Совсем оно непростое.

- С обезьяной живёшь, а меня учишь?

- Зенобия не обезьяна.

- Да макака стопудово. И дети макаками будут.

Рим хотел врезать Дрекуну как следует. Но, подумав, сказал:

- От плешивого павиана слышу. Ты лучше на себя глянь в зеркало!

Дрекун от неожиданности надолго смолк.

Выговорившись, решили всё переделать на иной манер. Но сложности пандемии сильно делу препятствовали. Тогда и пришла в голову Риму спасительная идея: не надо никого обманывать – деньги отдадут сами! За смех над ковидом.

Лично ему – сообразил - не так разбойная свобода нужна, как поиздеваться над этим самым ковидом.

Здесь-то они с Дрекуном и разругались окончательно.

В отместку Дрекун стал пощипывать Зенобию. Та по-марксистки сурово, но и по-африкански бурно его пока что отшивала. Но вот именно – пока! Рим заметил: колышет, колышет грудью африканская саванна! «Сама вытоптанная, как степь, а всё аспирантку марксистскую из себя корчит!» Заметить-то он заметил, но виду не подал. Да и не до того стало.

В одичавшем от безлюдья анти-кафе «Зелёный патруль» Рим столкнулся лоб в лоб с адвокатом Тимохой. Знал его и раньше, но на длительное время позабыл-позабросил. Тимоха куда как преуспел. Но не чванился, а рассказал историю. Про сбор пожертвований в пользу германских учёных. И про то, что учёные эти занялись сбором сведений о причинах возникновения гнусного ковида и с ним связанной паники.

- А тебе-то чё?

- Да за помощью они ко мне обратились. Могу и тебя к этому делу пристроить.

- Толком скажи, не догоняю пока.

- Ну, слушай. Коллегия адвокатов Германии создала комиссию. А та - сделала вывод. Он хоть и предварительный, а сильно на правду смахивает. Вывод такой: ковидная пандемия — преступление против человечества. И у неё конкретные организаторы имеются. А раз есть организаторы, значит, их можно обвинить, привлечь, и тэ дэ и тэ пэ. Причём заслуживают они именно уголовного наказания в соответствии с параграфом 7 Международного уголовного кодекса.

- Обосраться и не жить. А дальше?

— Чем дальше в лес — тем больше дров. Нужно разоблачить преступников, устроивших ковид-панику! Занимается этим в Германии доктор Фультим, адвокат с тридцатилетним стажем. Судебные дела против корпораций мошенников — его конёк. Он, знаешь ли, крупнейшие процессы против Deutsche Bank, Volkswagen, Kuhne + Nagel выигрывал. Райнер Фультим говорит: все случаи коррупции и мошенничества, с которыми сталкивался, просто цветочки в сравнении с разором и уроном, которые принёс корона-кризис. Поэтому организаторы этого мирового зла должны понести уголовную ответственность. И обязательно возместить ущерб гражданам, пострадавшим от болезни и паники. А поскольку здесь явно замешаны крупнейшие мировые кампании, - нужно от них защититься политически и юридически. А то не дай бог через пару лет ещё какой-нибудь глобальный кризис запустят.

- Опять марксизм-ленинизм на нас наезжает!

- Не марксизм и не соцленинизм. А новый бескризисный миропорядок.

- Это как? Чё-то не пойму.

- А тебе, знаешь ли, и не надо. Сделаешь свою работу, денежки на счёт капнут — и плавай моряк по океану!

- Ну и какая тут моя роль?

- Нужны пожертвования и тэ дэ и тэ пэ. Сбором их должны заняться не блатари, не пройдохи, а более-менее честные люди.

- Как это больмень честные?

- А так. Не осталось абсолютно честных на земляной нашей груше!

- Тут врётся Тимоха. Есть такие люди! И на хрена ты шарик наш грушей земной называешь?

- Давно, знаешь ли, земля наша форму груши начала принимать. Вот этим бы научному сообществу и заняться. А мы в ковиде, как осы в меду, залипли!

- Ладно. Уговорил почти. А тогда другое скажи: чё в Германии своих денег не осталось?

- Дело-то общее. Да и нам с тобой от собранных пожертвований кое-что останется...

Мысль посадить всех кто спровоцировал ковидный кризис запала Риму в душу крепко.

Но потом - неслышимо назад выпала. Да и германское направление ума вызвало смутное беспокойство. Подумав, Рим сам решил организовать, – с жертвованиями или без, это как получится - смеховое расследование российских проявлений международного кризиса.

Смеховое, смеховое!

Где был кайф - там будет горе...-

спел кто-то внутри Рима, драматическим тенором, похожим на тенорок профессора, признавшего его, Рима, похожим на Костю Райкина. Однако Рим оставил внутренний голос без внимания.

- Зенобия объявляет о независимости от Рима! – после краткой утренней любвишки заявила издёвочному слуге оливковая марксистка. – Ухожу иа, - произнесла она, на манер ослицы, - к великому Дрекуну иа ухожу.

Сперва Рим хотел как следует Зенобию отметить, но потом передумал и удерживать её не стал.

Гордо подхватив плетёную африканскую корзинку, типа African Zulu basket, набитую конспектами и помадой, бывшая аспирантка поднялась на этаж выше и там, в туманах влечений растворилась.

Тарабухтель

Рим начал работать сам, причём сразу по двум направлениям: по театральному и ковидному. Благо снова и в который раз перечитал старые австрийские пьески. Приблизился, так сказать, к европейскому направлению ума. Из этого направления вынес он одежонку Гансворта и несколько его шуток, которые для издевательств над ковид-кризисом и применил. Заодно и отечественных рэперов стал пародировать, передвижной театр одного актёра создавать начал. Назвал он свой театр неожиданно. Даже вывеску саморучно изготовил, продел верёвочку и на грудь подвесил: **ТАРАБУХТЕЛЬ.**

- Тарарамлю и бухчу! - покрикивал Рим в сквере имени канцлера Безбородко.

Сквер на Полюстровском, между Пискарьевским проспектом и Феодосийской улицей, где начал он свои выступления, представлял собой остатки сада, когда-то разбитого на даче любимца Павла Первого, графа, а потом светлейшего князя Александра Андреевича Безбородко. И хотя народу бывало там немного, место у Полюстрова пруда, названного так ещё Петром Великим, Риму нравилось.

Был одет он в щегольскую розовую блузу и ботинки с бабочками, но имел в одежде и внешности также детали «петрушечные»: вымазанный женской помадой бордошный нос и двцветную ало-зелёную шапку с кистями.

- Истязает ковид – человеческий вид! Эта многоголовая гнида хочет стать во главе нашего вида! Но я сейчас колесо закручу, вирус этот обхохочу! От смеха даже вирусыдохнут, и слёзы ваши вмиг обсохнут! - вспоминая уроки ГИТИСа, старался Рим и, не жалея ладоней, пробегал кувырками по скверу.

Когда собирались люди, начинал он выкрикивать бухтелки повеселей:

- Я Иван Тарабухтель! Слово моё поострей, чем немецкий фухтель! Попрошу сегодня деньжат у вас. Рубликов пять или десять, чтобы столько же словесных оплеух вам отвесить.

Освобождённые от учёбы школьники, скинув маски залиvisto свистели. Старики негодующе трясли седидами. Полиция и Росгвардия разок-другой замедленно, как в кино, проплывшие мимо, его отчего-то не трогали. Ободрённый равнодушием правоохранителей Рим заводил интермедию, взятую из стихов начала XX века, но сильно переделанную:

На домах, словно тартинки,

Понатыканы картинки:

Раскоряченные бабы

И беременные крабы...-

Медленно, словно ослабевая, садился после этих слов, Рим на асфальт.

А ковидная весна,

Напрочь всех лишила сна! –

хватался Тарабухтель за сердце. Ему хлопали, иногда перебивали, иногда – тоже саркастически - отвечали. Один старикан, встрёпанный как подросток и розовощёкий, как

девушка, примчавшийся в сквер на роликовой доске, даже проорал возмущённо стародревнюю эпиграмму:

*Краснотой своей ливреи,
Демократством водки
Отличаются лакеи
Графа Безбородки!*

- Это не тот Безбородко! Как вы смее! – встряла в беседу худая, как смерть, старушка. Первый Граф Безбородко был другим. Ему не нужны были лакеи. Он с венесуэльским революционером встречался!

- Вот и довстреча́лся! Вот и обкакался! А потом товарищ Жданов себя явил! И борьбой с Ахматовой свой род осквернил, - подхватил внезапно выздоровевший Тарабухтель.

После смеха, и даже лёгкого гогота зрителей, Рим всегда выкрикивал одно и то же:

- А теперь – серьёзно! Нужно унять преступников, запустивших ковид-спектакль и показать кулак им грозно! Нужны жертвования для германских учёных. Нашедших источник паники и этим весьма огорчённых!

- Германия – Германией! У нас должен состояться свой, российский разбор ковидища, - снова крикнул растрёпанный старик, балансируя на доске.

- Чудище-ковидище – тра-ля-ля, чудище-ковидище тра-ля-ля, - вдруг начала прыгать и смеяться девчушка с торчащими в стороны косичками.

Весна брала своё, девчушке стало жарко, она расстегнула кофточку. Полненькая смешливая, ямочки на щеках. Рим вдруг подумал: у него могла быть такая же дочка-девчушка. Но вспомнив знакомых баб, сразу понял - ни одна из них к деторождению не склонилась бы...

Собрав денежки, Рим возвратился в охолощённую Зенобией квартиру. Разлёгшись прямо на полу, думал, не переставая, про девчушку с ямочками.

- Этот козёл нам всю малину испортит! Пиндосы нам платят за дело: за то, чтоб их мыслишки мы здесь продвигали.

- Ну.

- Баранки гну. Нам нужно, чтобы все орали: Германия и Россия не там, где надо зачинщиков ковида ищут. В другом месте надо искать их!

- Думаешь, у нас в Питере найдут?
- Лучше в Москве. За такую находку нам зелёными хорошо заплатят.
- А если не в России это дело слепили?
- Тебе, баклан, какая беда, кто, где и чего слепил? Взял свои денежки - и на юга.

Если на кичу раньше не загремишь. Хотя на киче ты не был, чего и объяснять тебе.

- Так тут, Швандик, можно не на кичу, можно в другое место загреметь. Не хочу я с «конторой» иметь дела.

- Да не бойсь. Пока то да сё, мы уже внедрим в народ: ковид - чисто русское дело.
- А не пиндосы-америкосы тут первые?
- Америкосы не при делах. Зуб даю.
- Это потому ты так трындишь, что баксов у тебя полная пазуха. А мне всего сотку дал!

- Кончай гундеть. Пусть америкосы и сиволапые сами разбираются. Нам все фраера пофигу.

- Ты, прям, ваххабит какой-то.
- Чё? Щас дам в бошку, и год кончится. Сказано - вешать всё на наших, значит повесим.
- Самим бы успеть свалить.
- На то собаке и ноги...

Через месяц, майским, тёпло-тёмным, ещё неиспорченным утром, Рим вдыхал свободу у себя в Свечном переулке. Подходя к Лиговскому проспекту задумался.

Выскочившая из-за угла машина ударила его резко, крепко. Рим упал на спину, ударился головой. Через неясный промежуток времени увидел: над ним наклонился плешивый Дрекун. Вроде и Зенобия мелькнула. Актрискино лицо слилось с темнотой, но сумочку типа African Zulu basket – Рим узнал. Он хотел крикнуть сразу им обоим что-то едкое. Но речь - кончилась. Дрекун и Зенобия тоже исчезли.

Туман и кровь под волосами на затылке. Боль адская в правом бедре. Рим попытался поднять голову, но лишь сильно стукнулся затылком об асфальт.

- Готов? – услышал он над собой.
- А то! И нам работы меньше.
- Добей его, баклан.
- И так подохнет.
- И то верно. Вишь? Глаза у него, как у рыбы стекленеют.

Рим, однако, жил, видел, слышал. Про смерть не думал. Пока он дышал - её не было. Думал он про Гансворта и про пышные банты на ботинках. Про издёвочных русских слуг думал. Потом про смех.

«Другой смех нужен. Не издёвочный... Не хы-хы, не кхе-кхе. Не ржачка, не гогот... А какой нужен? Как у девчушки? Наверно. Легкий нужен смех и ласковый. Нежно-звончатый. Говорящий о несбыточном, которое вполне может сбыться. Но не издё...

Сирена «скорой» рассекла мысли надвое. Слова стали хлюпающими, забили рот, словно бессчётно ловившиеся в детстве лишённые раковины огородные слизни. Превжняя жизнь сперва отдалилась, потом спеклась в некрупный уголёк, стала остро ранящей, а потому совсем ненужной. Наступала жизнь иная, новая, мягко-улыбчивая, сладко очеловеченная.

Рима, покрывивая, увезла скорая.

Из-за угла, толкаемая в спину неусыпным Дрекуном, выставилась Зенобия. С полупустынной африканской печалью глянула она «скорой» вослед. Потом перевела взгляд чуть правей: на поребрике, отбросив далеко в сторону ногу левую и поправляя на подтянутом к себе поближе ботинке правой ноги матерчатую бабочку, тихо колеблемый белёсыми питерскими ветерками, в розовой блузе и шапке с двумя кистями, сидел живой и невредимый издёвочный слуга.

АНТИПЯТ И ДУШИСТЫЙ МОЗГ

Рассказ

- Да ты, балда, не слушаешь? Глянь сюда. Вот мы сейчас приедем, и он давай тебя пядями мерить! С головы до ног. А после обратно: с ног до головы обмеряет. Так ты, терпи. Слова ему сказать не моги. Только одно: «Щекотно, мол, Антипа Петрович!» Или – «Неудобно мне, Антипа Петрович!» Потому как, если начнёшь кочевряжиться, он нас в два счета выставит. А промолчишь – такое узнаешь: мороз по коже!

Невдалеке от Сергиева Посада - городок Пересвет. Замечательно уютный, хоть и совсем новый. Вообще-то городом Пересвет стал только в 2000 году, а до этого был просто посёлком. Правда, посёлком не простым, а основанным специально для

строительства Испытательного центра ракетно-космической техники. Причём назывался посёлок этот со дня своего основания в 1948 году, вполне бесхитростно: Новостройка.

Многие жители Новостройки участвовали в создании и даже в запуске первого спутника Земли, а также космического корабля, на котором Гагарин совершил свой молодецкий полёт в космос. Но прежде чем началось создание космической техники, надо было построить испытательную площадку. Для такого места нужны были особые условия: площадка должна была находиться не меньше чем в ста километрах от Москвы, в лесистой овражистой местности с хорошим речным протоком для сброса отработанных веществ. Принимал участие в строительстве и молодой тогда Антипа Петрович. Правда, на подсобных работах. С тех пор он и почувствовал необоримую тягу к науке, особенно к её тупикам и тайнам.

В город Пересвет мы с Олёкмой битый час и добираемся. Олёкма мужик интересный, но потный, жаркий. Родился он в Восточной Сибири, за что и получил своё речное прозвище, - и в обращении с людьми весьма прост. Когда Олёкма приближает своё мясистое лицо – собеседнику становится жарко и чуток страшно.

Я уже жалею, что купил нам с Олёкмой билеты туда-обратно. Туда-то ещё ничего, потерплю, даже интересно. А обратно? Замучает до смерти разговорами! А ведь не купи я обратный билет, может он там, в Пересвете, на денёк-другой и остался бы.

Олёкма, наверное, это чувствует и, беспокоясь, что опять засну или вставлю в ухо наушничек с музыкой - заводит разговор про главное:

- Про антиподов этих - ещё когда песенки пели! Мне теперь вот за пятьдесят, а когда петь про них начинали – шестнадцати не было. Правда, сейчас наука далеко от этих самых перевернутых вверх ногами дурачков-антиподов ушла. Но только наука наукой, а народный ум, - он тоже не дремлет.

Наш автобус номер 388 то останавливается, то снова вперёд: пробки! Такие же пробки, возможно, и в мозгу у Олёкмы. Но в отличие от 388-го он пробки из головы своей вышибает быстро, ловко.

- А что? Ты покажи русскому мужчине, куда лопату воткнуть, так он тебе всю землю насквозь пророе. А что Антипу Петровича местные дураки Антипятам зовут, так ты на это внимания не обращай. Ненаучного ума люди так его прозвали!

Городок Пересвет и на окраинах оказался чистым, уютным, а вот Антипят предстал совсем не таким, каким я себе его представлял. Ждал он нас не внутри своего дома, а за углом. Антипят пугнул Олёкму волосатым кулаком, выставившимся из какой-то мелкаячеистой сети так сильно, что тот ещё минут пять причитал: «Ох, ты лихо, ох, лихо моё». При этом на меня суровый хозяин глянул вполне косвенно.

Когда Олёкма оправился от страха и прекратил бормотать: «Вот он всегда так, вот он всегда такой». Антипят наконец-таки зорко меня осмотрел и проронил:

- Раз приехали – пойдёте со мной, утырки! Оба!

Антипят оказался не маленьким и шустрым, как думалось до встречи, а огромно-неуклюжим. Но при этом очень ловким, несмотря на свои стоптанные армейские ботинки 49 размера. Словом, был он подкупающе безобразен. Всё время, пока мы с ним перебрасывались приветственными словами – Антипа Петрович ходил по дому пятками вперёд. Потом прошёлся и на руках.

- Это я с антиподами австралийскими так общаюсь, - подмигнул нам.

Мужик, идущий пятками вперёд, - чем не любезная сердцу картина для русского писателя? Я и любовался. Смеялся от радости, когда он проходил отрезки пространства чисто, без зацепок. И вместе с ним, чертыхался, когда натыкался Антипят спиной то на огородное чучело, стоявшее почему-то не на улице, а дома, то на пластилиновую скульптуру абсолютно красной голой бабы. Чем дольше Антипят ходил, тем больше становился похож на чучело гороховое, правда, в меру взлохмаченное, а кое-где по бокам и на спине – так и совсем подновлённое. И чем сильнее походил он на пугалище, тем парадоксальней становились его слова.

- Куда идёт мужик – один Бог знает, - пояснил Антипят, - Бог-то знает, да мужику не скажет... Нет причины, а я иду! Потому как замучили нас всех причины и практическая ненужность их поиска! Замучила, по конторам устаревших знаний затаскала! Чего искать причин-следствий? Пронзительному зрению и без них суть явлений видна ...

- Пятками вперёд ходить – это тебе не хухры-мухры! Это тебе характер, - подсказал мне тихонько Олёкма.

- Карахтер, карахтер, - передразнил, услышав шёпоток Антипа Петрович, - пошли, со мной, говорю!

Антипа в дерюжном фартуке, шёл метровыми шагами впереди, и я удивлялся его энергичной сосредоточенности, а также взмаху рук, взлетающих на ходу едва ли не до подбородка. Был он похож лицом на устаревшего вождя Леонида Брежнева и всячески это подчёркивал: шевелил бровями, прицокивал языком.

Внезапно навстречу нам из-за гаражей выступила фигура в юбке и толстой, долгополой, шерстяной, но по случаю весны - расстёгнутой кофте. Кофта скрывала ладную женскую фигуру и зачем была напялена весной, - непонятно.

- Без меня, козлы, двинули?

- А ты нам на кой, Мань? Давать не даёшь, только петельки вокруг мужиков вьёшь.

- Пусть тебе антиподы в овраге дают. Те дадут, так дадут – мигом башка отвалится. И все твои аномалии враз отпадут.

- Сама ты, Мань, аномалия! Юбку зелёную зачем нацепила? Всё по Чингисхану, по международному игу тоскуешь? Одних история просвещает, а тебе, видать, мозги совсем выдула.

- Возьми с собой, ирод. Я по дикой природе соскучилась!

- Не возьму. Нам таких натуропаток даром не надо. Сами, небось, натуропаты.

Маня-аномалия отстала. Начался перелесок. Вдали резво блеснула вода. Справа обнаружился овраг. Стало свежее и как-то тревожней.

Олёкма тревогу чует и шепчет мне в ухо: «Чую, опыт над нами Антипят Петрович ставить будет!»

Тут откуда ни возьмись - из-за кустов девочка: полупрозрачная, застенчивая.

- Вот! Её, Устю маленькую, возьму. Для чистоты эксперимента.

Устя не такая уж и маленькая, лет тринадцать-четырнадцать, – стоит как солдат навытяжку.

- Опять школу прогуляла?

- Ага! - радуется Устя, как шестилетка, - у нас в школе сегодня «Взаимоотношения полов». А чего их учить? Они и так каждому дураку известны. А я на МехМат хочу!

- Университетская, значит, будешь?

- Ага.

- Ну, вот тебе задача для поступления в Университет. Глубоко в земле – кость, высоко в небе – кровь. Как соединить и сколько граммов получится?

- Что ж тут решать? Душа в небе, вес её, 18 грамм. А покинутые в земле кости - ничего для души не значат. Но если накинуть, дядя Антип, ещё грамм 150 крови с мозгами – как раз искомое душе-тело у нас и получится. Душе-тело - это когда тебя не видно, когда летишь, всё соображаешь, и вес вниз тебя не тянет.

- Красотуля, умница ты моя! Про душе-тела с прошлого разу не забыла ведь!

- Ну, вот ещё. Как такое, дядя Антип, забудешь? Только про них и думаю. Душе-тела много чего объясняют. Даже отец Иоанн не ругает. Сказал, правда, печалюсь: «Не ты Устинья первая, не ты последняя. Взять хоть болгарских богомилов: те прямо так и говорили, мол, Иисус, Бог наш, в эфирном теле на землю прибыл. Оно, конечно, с одной стороны ересь. А с другой - и апостол Павел нечто подобное говорил: «В теле я тогда пребывал или вне тела?»

- Тихо-тихо-тихо. Мы церковь не оспариваем. Но мы - наука. Народная – но всё же таки наука. Мы вес и другие параметры души ищем. В слово их переливаем. Особую химию души устанавливаем.

Тут Олёкма - толк меня в бок и шипит прямо в ухо:

- Может, свалим отсюда, пока не поздно? А то придурочные бабы какие-то вокруг Антипята вьются. Не люблю я бабского научного воинства. Ишь куда их повело! Не такого я ждал. Народные натуралисты, так их и разтак! Ты лучше про антиподов его спроси, а там посмотрим.

Но мне интересно как раз про душе-тела. Сдуру брякаю:

- А химия тут причём?

- Химия, господин московский, везде причём. Вот возьмём Устю, ей химией онкологию прочистили, она и поумнела сильно.

Присматриваюсь к Усте. И точно, последствия «химии» просматриваются: ржавые, небольшие, с рваными краями пятнышки у неё на щеках, на руках.

Тут из-под земли вырывается дым и немного пламени.

- Ага, пошло! - кричит Антипят.

- Ты что – террористом заделался? – беспокоится Олёкма.

Пламя не унимается, я тоже начинаю беспокоиться. Но вдруг все гаснет.

- Ну, теперь в лабораторию.

Лаборатория – в шалаше. Внутри - стол и две колбы. Рядом шумит смешанный, но по преимуществу хвойный лес, чуть вдалеке протекает река Кунья, и какая-то дрожь земли вроде слышна.

Я думал, Антипят сразу начнёт опыты, но он внезапно стал представлять в лицах историю человечества.

- Человечество наше зря товарища Дарвина слушало. Обезьянами себя очень уж многие почувствовали. И ты себя Олёкма обезьяной не смей считать! А история земли произошла так... Задумался Создатель и призвал к себе не Ангелов своих, а небесных учёных. Такой чин небесный тоже существует. Только о нём в тряпочку помалкивают. Ну вот. Позвал учёных с крылышками Господь и сразу им:

- Чтобы мне через неделю проект земли и её народонаселения был готов. Учёные с крылышками под козырёк и за работу. Быстро всё сделали, проект разработали. Господь и вдохнул в него жизнь. Но не успел Всевышний вдохнуть жизнь в проект Земля-Небо-Земля, как тут же среди учёных с крылышками продажная шкура объявилась. Этаким – как бы лучше сказать – Васька Шелапутин, международный проходимец. Хромец и мозгоплой с оттянутыми до плеч ушами. Он сразу рогатому план-проект выдал, да ещё и

подсказал, как лучше грехопадение и прочие пакости устроить. Рогатый и пошёл обезьян-человеков клепать, а уж позже нашептал товарищу Дарвину свой собственный план ыволюции!

- Здорово, - шепчет перенёсшая химию Устя.

Но Антипят не унимается:

- Но и это не всё. Стал человек на земле своевольничать, стал природу свою божественную искажать. А нам с вами что? Нам с вами то, что покуда неискажённым осталось! То, что в какие-то разы даже противостоять зарвавшемуся человечеству может. Может таких, как Васька Шелапутин, проучить как следует. А что противоположно искажившемуся человеку? Зверь, чистый. Не мутант, не помесь. Вот и поймал я тут зверя. Здесь он, в шатре.

Антипят полез под охапку травы, вынул длинную объёмную клетку.

- Имя зверю сему - заяц. Ты не смотри, Устя, что он смирный и ласковый. Зверь попрыгучий и серьёзный. Уже и говорит у меня немного. Вот, пожалуйста. Зая, а зая? Скажи – лошадь!

Заяц ничего не сказал, но в знак понимания голову слегка наклонил.

- Скажи Васька Шелапутин – дерьмо собачье!

Заяц и тут промолчал.

- Не хочет он при посторонних.

Тут вдруг говорящий заяц открыл, а потом закрыл глаза. А после как-то лениво прищурился.

- Видно понял: бояться ему нечего, решил повыпендриваться, - шепчет мне в ухо Олёкма.

Тут вдруг - Устя:

- Я домой хочу. Зайцев я и так видала. Я думала, дядя Антип, вы про новые исследования планет расскажете.

- И расскажу. Но позже. А пока терпи мехматовка!

- Не. Не буду терпеть.

Олёкме тоже видать надоело. Один я пока держусь. Но и меня уже в сон клонит. Апрельское солнце всё жарче. Призрачный воздух, лёгкие душе-тела воды и первых листьев. Засыпаю, засыпаю...

Вдруг слышу:

- А вот и компьютерный червь наш пожаловал.

- Я пришёл Вас разоблачить, Антипят Петрович.

Паренёк лет шестнадцати. Загадочно чешет нос.

- Вы в прошлый раз обещали – духоподъёмный кран. Я весь Интернет перерыл. Краны есть всякие, а духоподъёмных – ни фигурочки.

- Я ведь про духоподъёмник шутейно, а ты, червь компьютерный, и поверил.

- Не зовите меня червём. В компах никаких червей нет.

- А вирусы? Те же черви ведь!

- Кончайте эту безграмотную чепуху. Вирусы компьютерные это виртуальная необходимость.

Компьютерным червём Антипят презрительно-иронически называет шестнадцатилетнего, заканчивающего десятилетку паренька. Паренёк и впрямь педантичен и закомпьючен до невозможности, трещит и трещит, не даёт слóва сказать. Но Антипят его всё время побеждает, не мыслью, так издёвкой.

Стало веселей, мы смеёмся и подначиваем и того, и другого. Теперь всё как-то встало на свои места: Антипят - народный учёный-практик. Сирёня-десятиклассник – теоретик с узким осознанием жизни.

Вдруг Антипят заканчивает перепалку, садится в шалаше на скамеечку, опускает голову, потом резко наклоняется, выщипывает из-под ног прошлогодней травки, сыплет себе на голову.

- Видишь, червь, как я перед тобой унижаюсь. И не даром ведь!

- Денег что ли надо? У меня 50 рублей есть на завтрашний день.

- Внимание твоё на одном научном вопросе хочу заострить. Вы в школе поэзию проходите?

- Так, иногда. Стихи Лимонова недавно проходили.

- Надо же, а у нас только Мандаринова на дом задавали.

- Нету такого поэта.

- Так и Лимонова тоже нету. А ты про него байки плетёшь.

- Вообще-то, честно говоря, я тоже сомневаюсь: был ли поэт Лимонов?

- А Некрасова потрошили?

- Кому на Руси жить хорошо? Было дело.

- А народную поэзию хоть чуток вспоминали?

- Нету такой.

- Вот отсюда и моя нижайшая просьба. Прослушать одно научно завлекательное стихотворение от народа.

- Ну, послушаю. Зайца только спрячь. Не люблю живых животных. В Инете все животные красивые. А этот какой-то плюгавый, и уши опущены.

- Это он тебя послушал и опустил их. А я вот стишок расскажу – уши у него и поднимутся. Жаль Устя ушла. А то и у неё бы уши зашевелились. Ну, слушай, про науку наоборот...

Я вдруг взбодрился. Люблю мужицкое наоборотье, люблю небылицы! В основе небылицы лежат понятия, которые полностью противоречат друг другу. Ну, к примеру: «Жил на свете великан маленького роста». В этом самом наоборотье и в небылицах возможны захватывающие сюжеты: животные меняются ролями друг с другом или с людьми. Предметы выполняют несвойственные им функции. Неожиданно и вопреки всякой логике, оказываются не на своих местах участники какой-нибудь ситуации. Используются невозможные определения, как, например, с детства мной любимая «кудрявая каша».

Знакомые и приятели моего увлечениями «народной наукой» и народной медициной не одобряют. «Лучше б ты политикой занялся, - к партии какой пристал, что ли. Они, может, тебя наверх из твоей анти-общественной уборной подняли бы».

Долго откашливавшийся Антипят вдруг заговорил, как запел.

*Ехала деревня
Мимо мужика,
Вдруг из-под собаки
лают ворота.
Выскочила клюшка
С бабкою в руке
И огрела деда
Бабкой по башке.
- Тпру! - сказала лошадь,
А мужик заржал,
Лошадь пошла в гости,
А мужик стоял.
Лошадь ела шани,
А мужик - овес.
Лошадь села в сани,
А мужик повез.*

- К чему это я тебе рассказал? Мужик повёз свою лошадь, как собственную бабу, а книжный червь так без подружки и останется! Слишком наука научная у тебя и

последовательная! Ни одного выверта, ни одной диковинки, ну, примеру жидкого камня, у тебя в голове нету! А у меня... У меня лошадь летучая в следующей лекции случится!

После стиха и недолгого противоборства с компьютерным червём, Антипят сразу перебрался на другое:

- Кто хочет полёт своей души со свечкой в заднем проходе испробовать? Вставай в очередь!

- Сам пробуй, дурак старый, - не выдерживает Олёкма.

Тут Антипят вдруг обозлился, выхватил откуда-то из тряпья ружейный шомпол, свистнул им в воздухе.

- Щас учить вас буду! Душа в пятки у вас и вскочит. А разумок ваш мелкий, , разумок крохотный как раз в задний проход и провалится.

Олёкма что-то хочет возразить, но Антипят быстро разворачивается и бьёт его по спине шомполом. Правда, не так чтоб очень, скорей со средней силой. Но всё равно: не до шуток. Вот-вот вспыхнет драка.

Вдруг рядом голос.

Народный мыслитель вдруг замер.

- Ну, я пошёл. Антиподовской любовью наоборот заняться пора. А вы возвращайтесь: только для официальной науки вы и годитесь. Сам дурак, видел дураков, но таких как вы – не видел!

Антипят, ловко обойдя Олёкму, уходит.

Мы глуповато молчим. Тут вступает червь Сирёня.

- Это он для этой красотули своей всё придумал. И зайца говорящего, и душе-тела. Жениться Антипа Петрович на ней хочет. А она спрашивает: на что жить будем? Антипа Петрович ей и отвечает: идею продаж – богаче Перельмана стану.

- Так тот вроде денег не берёт.

Вдруг возвращается Антипят, видать, подслушивал.

- А я возьму денег, возьму и науку нашего городка поднимать на небывалую высоту стану. Не официальную науку – народную!

- С душе-телами и эфирными зайцами?...

- И с ними тоже. А идея моя главная такая, что её никто присвоить не сумеет. Мозг-душа. Или – душе-мозг. Понимаете? Это я так прозвал нутро наше. До меня никто так не звал! У меня ведь тоже планшетка имеется. Проверил! Письма Николай Фёдоровича Фёдорова «От неучёных к учёным» прочитал. Заодно и себя неучёного как дольку лимонную на свет проглянул. И вот, что я себе кумекаю. Душе-мозг – он все наши споры

разрешит. Ещё раз для тупых объясняю: душе-мозг, это такой сверх-мозг, который душой обволóкнут!

- Обволó... ик.. óкнут? – даже икнул Олёкма.

- Ну, пусть окружён, баран ты этакий. Душистый мозг! Вот как я его для красоты метафор зову.

Компьютерный червь прыскает. Я, раскрыв рот, удивляюсь: до чего притягательна бывает какая-нибудь глупость. Олёкма наконец понял, одобряет.

- Жаль Устя ушла, - повторяет в который раз уже Антипа Петрович, - она бы враз поняла. До сегодняшнего дня я жалел её, про душистый мозг не говорил. Чтобы она меньше на свою химию внимания обращала.

Антипату давно хочется уйти в лес, откуда звал его женский голос. Ну, а нам, нам только теперь стало по-настоящему тепло, и расходиться перехотелось.

- А может, и правда, ну её на фиг, обывательскую жизнь? Может при жизни надо в небе жить? - спрашивает меня Олёкма.

Я вздыхаю, вынимаю обратные билеты на электричку, думаю, что хорошо бы остаться до завтра, переночевав у кого-нибудь за тыщонку.

Но, поколебавшись, кладу билеты в карман:

- Через месяц приедем. Лошадь нам летучую показать обещал ведь, - наконец подводит итог Олёкма.

- Ага, ага, покажу. И баб своих обязательно привозите. Им лошадь сильно понравится. Это ведь не какая-то там лошадь во хмелю. Летучая! Всю тяжесть с баб ваших снимет, на себя взвалит. Не сочтите за оскорбление, а только чую, бабы ваши - чудо как хороши!

ПОСТАВЩИК АНГЕЛОВ

(Изменение существ)

Огромная корзина, сплетённая из толстых ивовых прутьев. В ней - стоят ангелы. Ветер чуть шевелит их голубовато-белые крылья. Бóльшая часть ангелов улыбается. Но попадаются и увитые печалью, есть обеспокоенные, двое-трое – грозно-суровы. Некоторые из ангелов обриты наголо. Но большинство – пышиноволосы, даже следы укладки волос и бережного за ними ухода просматриваются. Крепкий старичок в

цветастом шейном платке, в лиловой майке и закатанных до колен трениках заботливо поправляет приставную лесенку, чтобы помочь босому ангелу, стоящему рядом с ним, забраться в корзину. Прутья ивовой лозы прилегают друг к другу не слишком плотно. В щелях между прутьями видны две пары красных глаз, за старичком внимательно наблюдающих. Некоторые из ангельских лиц – до боли знакомы: два-три серьёзных писателя, один именитый хирург, бывший председатель Госплана даже.

Эскиз с ангелами написан на холсте, прикреплённом к лёгонькой деревянной раме. Холст на крепкой рыбацкой леске висит над моим столом. В левом верхнем углу его – золотое лучистое облако. Но ангелы и старичок не на облако смотрят! Все они, уставились в правый верхний угол картины, где зацепился хвостом за ветку огромного дерева буро-чёрно-серый узкокрылый змей. Голова змея со слюнявой пастью и болезненно округлившимися глазами свисает ромбом вниз. Правда, чувствуется: змей вот-вот поднимет голову, высвободит хвост, сглотнёт слюну и спикирует на старичка или прямо на огромную корзину.

Наивный по мысли эскиз выписан вполне реалистично. Единственное, что мешает эскизу стать картиной – это пустые, явно для кого-то оставленные места. Загадочная недовершённость полотна терзает, терзает зрителя.

Но есть и ещё кое-что, чего не видит зритель, а видят лишь те, кому я эту необычную картину иногда показываю. На обороте эскиза, крупно и косо, сделана надпись углём:

«Человек призван восполнить число падших ангелов».

Ветер из приоткрытой форточки слегка шевелит висящий на лесках эскиз. И от этого нарисованные фигуры словно бы приходят в движение, обмениваются воздушными поцелуями, другими дружественными жестами. Старичок в лиловой майке ещё и ещё трогает лесенку – не упала бы! Змей на дереве нетерпеливо шевелится, вздымает ромбовидную голову, но потом опять роняет её. От таких движений, кажется, оживает и сама история эскиза, ложась на бумагу то подмалёвком, то – краткими, чуть запинаящимися строчками...

Товаровед-стихотворец Ермил Кострицын, которого сослуживцы пока что запросто звали Ермилыч, ни одной выставки художников-авангардистов не пропускал. Молодой, даже не двадцатипятилетний, высокий, худощавый и худобой этой уже чуть согнутый, с каким-то почти собачьим нюхом на всё запрещённое, он не столько жил, сколько к чему-то необычному готовился. Обитал Ермилыч в Зоологическом переулке, и удобнее всего

ему было ходить на Малую Грузинскую, где поначалу запрещаемые, а потом вынужденно разрешённые выставки нового русского авангарда и происходили.

На выставках Ермил рассматривал не все картины. Привлекали его лишь четыре художника: Плавинский, Кандауров, Харитонов, Калинин. Художники были разными, идейной - как тогда говорили - связи между их картинами товаровед установить не мог, стили письма тоже резко контрастировали. Но как раз эти контрастные переходы - от разнообразного Плавинского к смиренному Харитонову, от лубочного Калинина к мощно-конкретному Кандаурову - товароведу и нравились.

- Какая глубина ассортимента... - застыв, прищёпывал он, - и комплектность наличествует!

Ближе к закрытию выставки Ермила, в очередной раз пришедшего на Малую Грузинскую, кто-то дёрнул за рукав. Перевалил за середину 1976 год, фамильярность была не в моде. Товаровед недовольно обернулся.

- Хотите хорошую копию с какой-нибудь из этих картин? Типографскую?

Маленький щупло-юркий старичок, успевший и дёрнуть товароведа за рукав, и поздороваться с двумя-тремя людьми, блаженно улыбался. Не услышав ответа, он ринулся вперёд и почти ткнулся носом в Харитоновского ангела, из-за тесноты выставочного пространства висевшего где-то на уровне Ермиловой груди.

Товаровед недоуменно пожал плечами.

- Да вы не смущайтесь, говорите! Или лучше выйдем на улицу, ведь вы уже битый час здесь топчетесь, - сладко зашелестел отступивший от картины старичок.

Продираясь сквозь густую толпу, медленно – как по капле - вливавшемуся в подвальное помещение, Ермил со старичком выбрались на улицу. Осень стояла тихая, без дождей, без ветра. Каждая морщинка на лукавом личике старика просматривалась глубоко, ясно.

- А хотите купить себе, кхгм, настоящего ангела? – ласково прокашлялся старичок.

- Вы - сумасшедший?

- А ничутью.

- Значит из ГБ... - понизил голос и озирнулся по сторонам Ермил.

- Вижу, вижу теперь, что и вы не из этой славной организации! Но вы на вопрос мой не ответили.

- Мне купить ангела? Да у меня, к вашему сведению, он есть: Архангел Гавриил это! Из самых сильных! – гордясь, выпалил Кострицын.

Старичок рассмеялся:

- Да-да-да! Как же это я про Гавриила позабыл? Только вы товарищам из «конторы» про него не говорите, а то в психушку запрут вас.

- Подумаешь, - пробурчал Ермилыч, - хоть отдохну там.

- Я ведь вам качественных ангелов, из спецматериала изготовленных предлагаю. Высокохудожественных! А вы перепугались.

- Что за материал такой? – заинтересовался товаровед.

- А увидите! И не так дорого. Ангел будет вас радовать и от невзгод сбережёт.

- У нас не католичество, иконы у нас, - снова оглянулся Кострицын.

- Да вы не сомневайтесь! Фигурка вас от веры не отдалит. Зато не даст к вам товарищам из «Детского мира» на кривой козе подъехать, когда вы свой собственный путь в ангелы осознать начнёте.

- Какой такой – путь в ангелы? И причём здесь «Детский мир»? Вы, видать по всему, из Кащенко сбежали!

- Товарищами из «Детского мира» мы с друзьями кличем ребяток с Лубянки.

- Я вас не знаю, отстаньте. Ишь, подстрекатель выискался...

- Зато я знаю вас. Даже справки навёл. И вообще, милый мой, я за вами уже несколько дней наблюдаю.

- А говорите не из «конторы».

- Христом Богом клянусь, не оттуда! Наблюдаю же, потому что пожалел вас. А пожалел, потому что понял: не во всех духовных вопросах вы ещё петрите, простите за просторечие. Так я вам, милый мой, вот что скажу...

- Чего это вы меня всю дорогу милым обзываете? Из гомиков, что ли?

- Опять не угадали.

- Ладно, подумаю. А где вы этих ангелов храните? У вас что - склад?

- Да у себя дома. В кладовке несколько штук запер, там и стоят. Иногда - показываю. Но не всем, не каждому.

- Ладно, гляну на вашего ангела. Завтра после работы.

- Идёт! Ваше имя я уже знаю. А меня зовут Василий Борисович.

- Тогда и фамилию скажите.

- На что вам фамилия?

- Нужно, спрошу у знакомых.

- А, пожалуйста. Гарь-Михайлов моя фамилия. Друзья зовут сокращённо - дед Гарь. Причём в одно слово двойную мою фамилию втиснуть стараются. «Дед-гарь» звучит у них как букварь, - снова хихикнул старичок. - Короче! Давайте встретимся завтра здесь же, но поближе к общежитию Консерватории, чтобы не торчать у всех на виду.

Назавтра поехали в район Абельмановки, потом – дальше, глубже. По дороге молчали: народу в троллейбусе – битком. Однако, сойдя с троллейбуса, Дед-гарь разговорился.

- Думаете, обману вас? А ничуть. Времени мало, поэтому скажу только одно. Вот вы себя православным числите. Но наверняка не знаете, что вполне можете занять место в сонме ангелов.

Кострицын лишь досадливо отмахнулся:

- Ну, хватит! Напрасно я с вами связался. Давайте цену – куплю вашего ангела. А ересь вашу и слышать не хочу.

- А, пожалуйста, вот вам не ересь.

Обогнав Ермила, старичок вдруг развернулся к нему лицом и уверенно пошёл пятками вперёд, сладко при этом урча, как наполовину отвёрнутый кран:

- У Иоанна Кронштадтского читаем: «Мы приглашаемся в сообщество Херувимов, Серафимов, Престолов, Господств, Ангелов и Архангелов – вместо отпадших, возгордившихся духов». А вот ещё похлеще. У преподобного Варсонофия Оптинского как сказано? А вот как: «Сотворенные духи не все сохранили верность Богу; треть отпала от Создателя, и из благих они сделались злыми, из светлых – мрачными. Чтобы возместить потерю, сотворен был человек. Теперь люди, работающие Богу, по кончине своей вступают в лик Ангелов и, смотря по заслугам, становятся...». - Здесь старичок закашлялся, - «...становятся или просто Ангелами, или Архангелами. Этот видимый мир будет стоять до тех пор, пока будет пополняться их число, а тогда – конец!» - Вот оно как у отцов наших сказано!

От силы слов Варсонофия старичок даже подпрыгнул, чуть было не упал, быстро развернулся и уже на ходу крикнул:

- Вижу, не веришь! Ну и кто ты после этого? Ермилка – недоверчивый, Ермилка недоверченный!

Слегка подпрыгивая и покрикивая, устремился старичок к своему дому.

В тёмном подмостье ступая за старичком след в след, Ермил отирал выступивший пот. Сперва подумалось: блажит Дед-гарь. Но потом в ум влетело иное: «Нужно по книгам проверить. Только, у кого достать? Священник отец Иннокентий, дать побоится, а больше - не у кого...»

Вдруг старичок резко остановился, сделал шаг в сторону и почти исчез за толстым стволом дворовой липы.

- Видишь двоих, у подъезда? – окончательно перешёл на «ты» Дед-гарь, - за мной это. Не успел тебе Ангела сосватать. Прячься скорей на детской площадке! Загребут меня. Чую. А могут и тебя – до кучи...

- За что они вас?

- За самиздат. И ещё за разные разности. Так что - покупка отменяется. Дуй, что есть силы - к моей младшей внучке. Тут она, рядом, в Сорокином переулке... Адресок запоминай! Вдруг ангелом твоим станет? – опять рассмеялся Дед-гарь, - в один миг и девушку хорошую, и ангела бесплатно получишь! Скажешь ей – Василий Борисович послал. И фразу секретную прибавь: «Человек призван восполнить число падших ангелов». Даром, даром Ангела получишь, Ермилка, - вдруг закручинился старичок. - Только сразу не убегай! Посиди чуток на детской площадке.

С детской площадки Ермил с резкой ясностью видел: берут старичка под руки двое в стёганных болоньевых куртках, старичок, как припадный, смешно запрокидывает голову, один из «стёганных» шепчет ему что-то прямо в ухо, старичок скалится, но голову выравнивает, и вся троица скрывается поспешно за углом пятиэтажной хрущобы.

В Сорокином переулке Ермилычу открыли не враз. Даже кулаком пару раз стукнуть пришлось. Очутившись в крохотной квартирке с трёхметровой кухней, подробно рассказал зачем пришёл: про выставку на Малой Грузинской, про обещанного Ангела. Появись, добавил: двое «стёганных» старичка увели.

Девушка в однотонном платье с пришитыми к нему цветастыми рукавами, назвавшаяся Соной, – «а ещё иногда Соночкой зовут», – влажно ахнула, но слёзы сдержала. Чувствуя: в этот час в Сорокином переулке он лишний, Ермил спросил номер телефона и, торопясь, уехал к себе в Бескудниково.

Через три дня, бодро топающий на допрос старичок, вспомнил, что не сказал Ермилке главного, и на миг приостановился. Конвойный не зло и не больно толкнул в спину, и тогда старичок, нежно пламенея весельем, тонко-звонко, как школьник, хорошо выучивший урок, произнёс:

- А ябед-корябед на место отпавших духов - не пригласят. Не пригласят их!

- Молчать! - лениво рявкнул конвойный.

Старичок мелко по-детски затряс головой и, давась от счастья, втихаря засмеялся.

Через несколько дней Ермил позвонил Соночке, они встретились в кафе «Золотой рожок» близ Рогожки, выпили кофейку, съели мороженное.

- Вы, Ермил, хотели Ангела получить. Мне дедушка одного оставил. Не для продажи, для услад и помощи.

- Ну, если вам не жалко.

- Нет-нет! Ничуть не жалко! А вы за это мне расскажете, что дедушка ещё говорил вам.

Выйдя из кафе, медленно двинулись по направлению к центру, миновали Андроников монастырь, спустились к Язу. Соночка рассказывала о своей «кукольной» работе, хвалила «Московский комбинат игрушек», который был по её словам создан совсем недавно, в 1963-м, а уже выпускал неплохие игрушки из полимеров и настольные игры.

- Но не только, - глядя на темноватую, подсвеченную всего двумя-тремя огоньками Язу, оживилась Соночка, - не только! Иногда позволяют сделать что-нибудь и впрямь художественное. Я вам как-нибудь покажу, - вдруг застеснялась она. - Представляете? – вдруг переменяла она тему. Нас пятеро сестёр! Вы понимаете? Пятеро! Это никакому Чехову не снилось. И даже в сказках такого нет... Родители наши в авиакатастрофе погибли. Дедушка и придумал: он продавал собственноручно сработанного Ангела – недёшево надо сказать продавал, – а в придачу к Ангелу неведомыми путями выдавал замуж очередную внучку. Причём долго выбирал подходящего жениха. Тоже мне, сватья баба Бабариха, - засмеялась она звонко, влажно...

Ещё два-три раза встретившись в кафе, в свободное воскресенье поехали смотреть Ангела. Он оказался маленьким и на вид суровым. Ермил, словно пытаясь Ангела растормошить, пошевелил пушистые крылья, поставил крылатого на стол и неожиданно поцеловал Соночку.

- Василий Борисыч сказал, вы Ангел и есть, - коротко шепнул ей на ухо.

Поженились они в декабре, а к Новому году получили письмо от старичка Гарь-Михайлова. Тот написал Соночке коротко и неясно:

«Будьте вместе, сколько сможете. Зачем убывать в неизвестность?».

Про их с Ермилом скромную свадьбу дед ничего не знал. Сёстры Соночки ему об этом, видно сговорившись, не сообщали. Деда они побаивались, да и связываться с ним теперь через почту не хотели. Так что, дедовы слова расшифровать не удалось.

В марте молодые попросили родителей Ермила по-родственному переехать к Соночке, а самим - в двухкомнатную, в Бескудниково. Родители не согласились: Соночка своей прозрачностью и «никому не нужной в советское время склонностью к божественному» - как говорили они меж собой - родителям не нравилась.

Ермил обиделся, и они с Ангелом-Соночкой решили уехать – только на время - в Читу, где Ермилу от покойной прабабки достался в наследство дом на улице Костюшко-Григоровича. А что? Удобно! Рядом – река Читинка, рынок, церковь Петра и Павла...

Жизнь в Чите потекла размеренно, спокойно. Но года через три, когда Соночки не было дома - с двухлетним сынишкой ходила в поликлинику – заглянули к Ермилу двое. Сперва он подумал из «Райсобеса»: хотел туда устроиться, надоело товароествовать, написал письмо.

Пришедшие – показали документы. Один - приземистый, хмурый, всё молчал и втихую осматривал комнату. Зато второй, совсем молоденький, звонкоголосый, – сразу взял быка за рога:

- Дед вашей супруги отбывает заслуженное наказание. У меня вопрос: не говорил ли он, где хранит запрещённую литературу, кто помогает её издавать, переплетать? Кто достаёт полиграфические материалы, кто привозит книги из-за рубежа? Вы не торопитесь. Послезавтра ваша супруга опять пойдёт в поликлинику. А мы - р-раз! - и к вам наведемся. Очень, очень важные вопросы обсудить нужно.

После третьего посещения Ермил как-то сник, увял и словно во сне, без всякого умысла и принуждения назвал человека, о котором вскользь упоминал Дед-гарь. При конце разговора неожиданно для себя самого - не со зла, просто на язык легло – сказал, о чём не спрашивали: «Склад литературы у них в Загорске. Рядом со Скоропусковской мебельной фабрикой. Старик кому-то на выставке про него говорил. Сказал: там ещё ворота голубые, как на картине у Харитоновой...»

За создание подпольной группы и хранение нелегальной литературы старичку добавили четыре года.

А через три месяца после встречи с хмурым и звонкоголосым, Ермил Ангела-Соночку покинул. Уверял - не насовсем, ненадолго: «Просто хочется пожить одному. Здесь же, рядом. Товарищ в Заполярье на заработки подался. А деньги тебе и Васеньюшке – регулярно, деньги - всеобязательно...»

Просматривая в обратном порядке историю своей жизни, Соночка вспоминала живопись и счастье, вспоминала, как занялись на дому с Ермилом малыми пластиковыми

скульптурами - не ангелами, а быстро надоевшими будёновцами и матросами. Она вздрагивала, терзая себя воспоминаниями о болезни рук: мокрая экзема началась у обоих и её долго не могли унять. Отрадой вспыхивали в сознании стихи и куклы. Здесь дело обстояло куда лучше. Но только у одной Соночки. Её маленькие толстенькие смешные куклы шли нарасхват. А вот свободные стихи Ермилыча становились всё зашифрованной, всё абсурдней. Кое-кто из знакомых стихи эти хвалил, но дочитать до конца объёмные тексты – три-четыре машинописные страницы в каждом стихотворении – никто не мог. Соночка прерывисто вздыхала, гладила сына Васеньку по щеке и начинала думать о возвращении в Москву.

А ещё вызубрила наизусть *собственное неотправленное письмо*. Оно было написано после неожиданных сведений о Ермилыче, а также под влиянием чьих-то полубытых слов, чьих именно, вспомнить Соночка не могла:

«Они держат в ларцах живых змей и во время своих диких таинств выманивают их из укрытий пышными паляницами. Змей этих несколько. Главный среди них – Змеебог. Так они его называют. Живёт Змеебог в длинном, широком, матового стекла ящике. Из ящика выползает на стол и, помедлив, обвивается вокруг паляницы, сжимая и кроша её своей ороговевшей чешуёй. Змеепоклонники – Ермил в их числе – называют это «совершенной жертвой». Они не только дают змею хлеб, но и принуждают всех по очереди целовать этого гада прямо в ямку, расположенную на змеином темечке. Затем наливают каждому по бокалу вина, голова змея по очереди окунается во все бокалы – у них для этого есть специально приглашённый профессиональный змеелов – заставляют «освящённое» вино пить, а раскрошенный хлеб съесть до крошки. Два человека то ли от укуса Змеебога, то ли от яда, попавшего в бокалы с вином – точно не знаю - умерли. И эти порочные люди называют свои действия – евхаристией!..»

Змеепоклонники появились в жизни Ермила неожиданно. Однажды на центральном рынке к нему подошла дама средних лет: моложавая, по столичному, одетая.

- Вы Ермил Ермилыч?

Постепенно разговорились. Дама рассказала о новом, абсолютно легальном и по её словам биологически безукоризненном Обществе любителей змей. Пригласила бывать. Ермил зашёл, да так и остался.

В новой роскошно обставленной квартире Ермилу нравилось. Не пугала даже тщательно запиравшаяся на замок комната со змеями. Сама дама в квартире не жила, а Ермилу разрешила. Тревожило одно: «Общество любителей змей» оказалось сектой

змеепоклонников. Обработывали Кострицына недолго. Скоро Ермил Ермилыч стал и сам повторять вслед за людьми, входившими в секту:

«Змеи мудрее нас! Укус для тех, кто признаёт Змеебога – не смертелен!» И ещё добавлял из Евангелия, слегка перевирая текст: «Будьте кротки как голуби, и мудры, как дальневосточные змеи!»

Слова поправленного Евангелия сперва Кострицына обескураживали, но потом стали привычными, сладкими.

Стал он про щитомордника читать даже что-то вроде лекции. Это нужно было для вербовки будущих змеепоклонников. Лекциям Ермила предшествовало интимное внушение, производимое всё той же, сперва роскошно одетой, а потом роскошно раздетой дамой. Воодушевляя Ермила, она шептала:

- Явил! Явил нам себя святой щитомордник! Наконец-то! Говори о нём достоверным людям. Славь его, дурашка, славь...

Говоря вербуемым людям про Змеебога из рода щитомордников, Ермил сперва запинаясь. Но потом стал трещать бойчее и даже вполне научно:

- Окрас восточного щитомордника великолепен. Крупные буро-серые пятна эллиптической формы, расположенные по бокам тела, окантованы черным. По всему телу проходит узкая красно-бордовая полоса. Если говорить по-научному – это *Gloydius blomhoffii* — вид ядовитых гадюковых змей из подсемейства ямкоголовых. Латинское название дано в честь любителя японских девушек, Яна Бломхоффа, директора голландской торговой колонии в порту Нагасаки. Но отрешимся на миг от науки. Есть ведь ещё вера! Вера в Змеебога, как спасителя мира. Позже мы ещё соединим божественное с научным. А пока сообщу: длина нашего бого-щитомордника максимальная, 91 сантиметр. Это самый крупный экземпляр из когда-либо существовавших! Голова Змеебога сверху покрыта крупными щитками. Зрачок - вертикальный. Кератиновая чешуя на туловище вызывает восторг и обожание. На голове чешуя образует гребешок. Снаружи чешуя и вся кожа жёсткая, но чем дальше внутрь, тем более мягкой и гибкой она становится. Такое постепенное изменение свойств и сущности живой материи, а также периодический сброс изношенной кожи делают змея бессмертным! Любит Змеебог открытые влажные места, опушки, высокотравные луга. А больше всего - границы рисовых полей, где мелькают босые ноги неблагодарных людей!

Скажу и об ужасном. Не могу, не в силах скрывать! Мясо некоторых свято-щитомордников в сушёном виде потребляют в пищу японцы с корейцами. Но и у этих недоумков оно считается целебным средством против множества болезней. Что лишний раз подчёркивает: щитомордник – истинный Змеебог!

Сона с шестилетним Васенюшкой решила-таки вернуться в Москву. Дом заперла, ключи – соседям. Про Ермила - если объявится - просила сообщить. Жизнь Соночки у себя в Сорочьем переулке поплыла, как случайная щепка по Яузе-реке – дальше, дальше.

Плавание это по новой московской жизни было сперва одышливым, тяжким. С дедом они должны были встретиться на следующий же день после приезда из Читы. Но Василий Борисович – бодрый, даже раздобревший после отсидки - вдруг нелепо погиб. Захотел проехаться по тихой Душинской улице на удобном дорогом самокате, и был сбит выскочившим из двора грузовиком. Причём самокат по случайности остался цел.

Соночка самокат этот долго рассматривала. Полузнакомый человек, оказавшийся рядом с самокатом в момент осмотра, рассказал ей о превосходных свойствах машины.

- Один толчок ноги, и ездок переносится на 25-30 метров! Ещё и груз килограмм в тридцать может с собой взять. Вы не смотрите, что самокат из детского спорт-роллера "Орлик" переделан. Переделка – серьёзной оказалась. Платформа максимально приблизилась к земле. Понижение платформы сместило центр тяжести, добавило самокату устойчивости. И ногу сгибать не надо. А колеса? По ним грузовик проехал, а они целы! И багажник есть. Возьмите, для сына!

Взять самокат, о котором дед радостно сообщил в последнем письме, ни в тот день, ни через полгода Соночка не пожелала. Сильно горевала. И поддержки ждать было неоткуда. От Ермила – ни слуху, ни духу, у сестёр – своих хлопот полон рот, они почти не вмешивались, правда, схоронить деда помогли. Но Васенюшке нужно было идти в школу, и Софья Петровна потихоньку горе забыла, втянулась в предстоящие школьные дела. Лишь иногда, глядя на эскиз и от выступавших слёз ничего кроме корзины и дерева не видя, думала о странностях судьбы.

Правда, однажды, всмотревшись внимательней, увидела: в сонме ангелов появился дед Василий Борисович. А старичок в лиловой майке на деда похожий приобрёл черты совсем другого человека! Она прикрыла на минуту глаза рукой, глянула снова – дед-ангел исчез. Но через день, после слёз и вздохов, опять появился.

Постепенно она привыкла время от времени смотреть на эскиз. Особенно часто после того, как из Читы написали – Ермил, которого иногда видели на рынке, пропал напрочь. Одни говорили - утонул, другие – умер под забором. Глядя на эскиз, Соночка стала высматривать на нём Ермила. Его не было. Тут из Читы пришло новое письмо: Ермил объявился! Поступил на работу товароведом, а змеепоклонники – об этом было сказано глухо и вскользь - вроде исчезли.

Четверть века спустя, томясь в очереди за каталогом авангардной выставки, случайно с Софьей Петровной познакомились и разговорились. Она рассказала: дед её имел дело в советское время с художниками нон-конформистами. Я тоже знал некоторых. Нашли общих знакомых. Подавая даме визитку, я посетовал: в советское время не купил хоть несколько графических работ этих художников.

Неожиданно Софья Петровна предложила купить недорого эскиз художника NN у неё. На полотне, как она сказала, изображён её дед: Василий Борисович Гарь-Михайлов.

- У меня эскиз этот вызывает горькие чувства. Может, своей недовершённостью. Или, скорей, едва заметными движениями, которые, если глянуть на полотно сбоку и полу-прикрыв веки, на нём происходят. Все ангелы на картине едва заметно светятся. Но иногда какой-нибудь вдруг приметно темнеет. На следующий день, до черноты потемневший Ангел с полотна исчезает, на его месте появляется новый. Всё это, наверное, нервы или моё обострённое воображение...

Тут подошёл её взрослый сын, представившийся Василь Ермилычем. Вымахал он под два метра, был сдержанно-улыбчив, внимателен. Поговорили о школах современной живописи – он закончил Московскую Академию печати, знаменитый худграф, - и разошлись.

А через несколько дней по электронке пришло письмо:

«Вы ведь купите эскиз? Приезжайте в ближайшее воскресенье».

Эскиз я купил и узнал много интересного. Например, про то, о чём Соночка никогда не говорила сыну, а меня, снимая со стены эскиз, с горечью и надеждой, как последнюю инстанцию, попросила:

- Что-то в истории с моим дедом не так. Я тут услышала... Словом, сейчас вроде разрешают родственникам смотреть кое-какие из секретных документов советских лет. Я вам доверенность дам. Хорошо? Просто сына вмешивать не хочется. Вы писатель, может, вам разрешат заглянуть в архивы лубянские?

- Не лежит у меня душа к этому ведомству. Не потому, что я тоже когда-то самиздатом занимался. Просто не хочется опять с головой в болото проваливаться. Ну, были доносы. И ужасно, что они были. Но ведь тут нужно каждый донос исследовать: отчего да почему? Может, заставили, может, спровоцировали? А, может, человек, эту пакость написавший, патологический доносчик. От рождения, так сказать... Но скорее, не хочется потому, что в нашем кругу доносчиков не оказалось. Бог миловал. А раз так, – нет у меня мотива заниматься разбором доносов. Не моя партия. Но на вас больно смотреть,

поэтому узнать попытаюсь. Напишу, сославшись на Ваше желание, запрос. Или кто-то из знакомых депутатов поможет...

- А вот фотография Ермила. Посмотрите. Может, вы его встречали тогда, в середине 70-х? Он часто бывал на тех же художественных выставках, что и вы.

Я внимательно глянул. Но не в фотку, а на Соночку: тонкое, почти иконописное лицо, красноватые веки, чуть вздрагивающие от неутраченной любви к покинувшему её человеку пухловатые губы...

Добыть ксерокопию дела старичка Гарь-Михайлова один человек – вполне официально – мне и помог. Тогда и стало ясно: донёс на старичка именно Ермил Кострицын. Соночке сообщать об этом я не стал. А она, после того как избавилась от эскиза, больше не звонила.

Теперь эскиз на лесках висит у меня над столом.

Когда я открываю окно, ветер слегка его шевелит. Предупреждённый Соночкой, я не боюсь быстрых и почти сразу исчезающих изменений на холсте. Изменения эти случаются нечасто, я привык и уже не вздрагиваю, когда по лесенке, придерживаемой для устойчивости старичком в лиловой майке, быстро взбирается очередной смертный, чтобы влиться в ангельский строй. Не пугаюсь и молниеносного нарастания крыльев у взбирающегося за спиной! Не вздрагиваю даже тогда, когда слегка шевелится, но тут же и замирает буро-серый змей, свисающий головой вниз с вечнозелёного дерева, или когда вдруг заполняется одно из пустовавших в корзине мест...

Конечно, налетает иногда беспокойное любопытство: не окажусь ли когда-нибудь я сам на необычном эскизе? Любопытство всегда приводит к раздражению и недовольству: кто разрешил художнику руководить нашим посмертием? Или тут проявляется не его воля, а эскизом просто воспользовался кто-то незримый, высший?

Но чаще я думаю не об этом, а о том, что будущее и прошлое, собранные воедино на полотне, развёртываются передо мной слишком медленно! И эта медлительность будущего мне постепенно начинает нравиться, успокаивает меня.

И вообще: всё медленное - становится в моих глазах великим, важным. А всё сиюминутное, злостное - летит под откос, как пакетик с остатками еды, огуречными шкурками, лузгой и прочим сором, выброшенный за окно брезгливым пассажиром скорого поезда!

Через полгода после покупки эскиза - внезапный звонок от Соночки:

- Четыре дня назад я получила письмо. Можно прочитаю?

«У нас в Чите, две недели назад, на мосту влюблённых, который если помните, Софья Петровна, весь увешен запертыми на ключ замками, случилась беда. Товароведу Ермилу Кострицыну стало дурно. Говорят, он сел прямо на бетон. Вдруг огромный змей-щитомордник с красной полосой вдоль спины, видно случайно выпущенный из серпентария на мосту объявился! Змей на миг поднял голову, застыл, а потом быстро пополз к лежащему в полуобмороке товароведу, вполз на его лицо и ткнулся, будто целуя, в нижнюю губу. Подросток, пробежавший по мосту, позвонил в полицию, щитомордника отловили, поместили в серпентарий... А Ермил - умер».

Соночка молчала почти минуту. Потом тихо-трогательно произнесла:

- Я прошу вас: гляньте на эскиз, нет ли там Ермила? Пожалуйста...

Бедная Соночка! Она не знала слов деда, предупредившего о том, что ябеды-корябеды и доносители никогда не войдут в сонм ангелов. Именно эти слова были зафиксированы в ксерокопии дела, которые – «всего три листка, больше не положено» - принёс мне один из народных избранников, тоже увлекавшийся русским авангардом...

Поговорив с Соночкой, выключая мобильник и укладываясь спать, вдруг случайно взглянул на эскиз. Ветра не было, но движения на эскизе происходили явно, неоспоримо! Они были едва заметны.

Стало ясно: происходят отнюдь не движения. Происходит - изменение существ! Сущность человеческая менялась на сущность ангельскую.

Вдруг буро-серый змей с долгокруглыми пятнами, рассыпанными по всему гибучему телу, засиял голубовато, змеиная шкура лопнула, сползла, на голове сверкнул серебряный шлем, жало змеиное спряталось, выросли сзади золотые упругие крылья!

Преображённый змий, получивший на время ангельскую суть и плоть, взмыл над корзиной, коротким копьём проткнул насквозь явившегося в сонме ангелов Ермила Кострицына и вместе с ним исчез. Вскоре змий вернулся, но без Ермила. Причём принял свой прежний вероломно-змеиный вид и, коварно спрятав глаза, опять уцепился хвостом за вечнозелёное дерево, свесив ромбовидную голову вниз.

Старичок в лиловой майке, радостно потёр руки, и майка его стала длинной ризой, голова покрылась вьющимися волосами, в руках явился стальной пернач...

Однако через секунду-другую и старичок принял былой вид: майка – треники – плешь. Ласково улыбаясь, нежно подтолкнул он к лесенке очередного Ангела со знакомым до боли, радостно-сияющим, но явно ошалелым лицом.

III часть

ПУТЬ ПЧЕЛЫ

Абхазская новелла

1.

Каменная золотисто-серая пчела вылетела из горной расселины вместе с глянувшим из-за гор солнцем. Путь пчелы лежал из расселины вниз, в долину, к душистым пирамидкам кавказского каштана. Был полёт её лёгок, пустоват, летела пчела быстро и с небольшим креном, потому что груза на ней ещё не было. В долине каменная пчела чуть сбавила скорость, затем стремительно ушла вверх, но сразу же и вернулась на облюбованное место. Жужжала она, как заводная детская игрушка: тихо, прерывисто, со сладким нарастанием.

Неотрывно следя за полётом пчелы, Амра от удовольствия даже зажмурилась. «Как маленький самолёт», – подумала она по-русски, но потом сразу же произнесла эти слова вслух на родном языке.

Минут через пятнадцать та же пчела, но уже в два раза медленней, стала возвращаться обратно. Амра узнала её по кренящемуся полёту и по необычно длинным усикам-антеннам. Пчела летела с нектаром, а, может, и с обножкой, особо ценимой пчеловодами и представляющей из себя цветочную пыльцу, которую медоножка склеивает секретами своих желёз в сладкие гранулы.

2.

Сразу после восьмилетки Амра почувствовала себя вольней, свободней. Ещё бы! Ей только-только исполнилось четырнадцать. В классе она была самой младшей, самой длинноногой и привлекательной, не по-южному сероокой, с милыми ямочками на щеках, мраморным точёным носом и слегка удлинённым лицом. За красоту одни её задирали, другие предпочитали не связываться: Амра умела за себя постоять.

Не слишком ластилась она и к старшим, дерзила или отшучивалась: «Я ещё маленькая!» Но иногда вдруг кидалась подругам и взрослым на шею, словно пытаясь в один заход попросить прощения за все свои дерзости. Именно соединение резкости, стремительности и потаённой нежности влекло к Амре мужчин среднего, а иногда и старшего возраста. Но вот родители и родственники - те были недовольны.

- Ты не просто маленькая. Ты - пустая и злая. Как нерадивая пчела, попавшая по собственной глупости в холодное место, - сказала ей как-то двоюродная тётка, приехавшая погостить в Сухум из Нижних Эшер.

Амра не чувствовала себя ни пустой, ни злой, поэтому обидные слова накрепко в ней засели. Но за пчёлами, как и за другими летательными аппаратами, она с тех пор стала исподтишка наблюдать.

Ещё в школе Амра начала, - сперва тайно от родственников, потом открыто - заниматься у-шу. Причём боевым его вариантом, носившим приманчивое название: Вин Чунь - Кулак Вечной Весны. «Вечная Весна» оказалась одним из самых прицельных видов боевого искусства, использовавшего сразу несколько разнообразных техник. К философской системе у-шу, о которой говорили, что это наилучший духовный путь, включающий элементы "чудодейственного даосизма", открывающего дорогу к бессмертию, Амра отнеслась равнодушно. Иногда над этим чужим путём, не учитывающим местных условий, тихонько посмеивалась.

После восьмилетки, всё лето, там же, на окраине Сухума, помогала деду на пасеке. Заодно потихоньку училась водить дедову старенькую «Волгу». Мёд, который приносили дедовы пчёлы, был каштановый, чуть горчил, но от этого лишь сильнее услаждал. Пчёлы, их полёт, их слаженные действия в ульях и около них, занимали её сильно. В действиях этих живых летательных аппаратов чувствовался укор людям, которые на взгляд Амры, часто вели себя странно, а уж действовали почти всегда разрозненно.

Сквозь полупрозрачную морскую дымку – особенно вечерами – посвечивала далёкими огнями будущая жизнь. Ошеломляющая невесомость этой жизни, срывавшая с места, тянувшая к неизведанным воздушным путям, опять-таки напоминала полёт пчелы.

- Тебе нельзя без учёбы. Иди учиться дальше, - сказал как-то отец, - и Амра впервые за последний год радостно с ним согласилась.

Она поступила в Медицинское училище, на отделение сестринского дела. Двухэтажное училище разместилось в тенистом дворике на Адыгейской улице неподалёку от их дома, ходить туда было радостно и приманчиво.

Однажды майским утром, перед окончанием первого курса, она и впрямь ощутила себя пчелой. Губы – как хоботок для сбора сладостей жизни. Жало, таящееся глубоко

внутри - для неприятных людей. Чуть золотящиеся по краям волосы – для всех, кто захочет ими любоваться. Четыре чуть подрагивающих крыла, - не каких-то сухих и ломких, а свежих, упругих, – для никому не видимой, но уже вскипающей внутри взрослой жизни.

Про то, что пчелиные крылья представляют собой живые образования, а не какие-то мёртвые ороговелые поверхности, им объяснили на биологии.

- В основании крыла расположена трубчатая жилка из хитина, которая разветвляется подобно тому, как весной разветвляется река Гумиста. Эта жилка переходит в более мелкие сегменты на маховых поверхностях. По хитиновым полостям движется зеленоватая гемолимфа, поэтому в летательном аппарате пчелы и происходит обмен веществ, - время от времени поглядывая в открытое окно, весело доказывал им русский старичок-доктор.

Тихо и приятно жужжа, широко расставив руки, бежала Амра с практических занятий домой. Ей нравились полёт и жужжание. Такие действия хотелось повторять чаще, дольше, веселей...

3.

В июле 1992-го она поехала к родственникам в Кодор: там, в прохладной реке, серебрясь, плескалась пятнистая, чуть красная по бокам форель. Как-то сидя на берегу втекающего в Кодор ручья, она увидела: две собаки – овчара и колли нападают на дымчато-серого кабанчика, такого же пятнистого, как форель. Сперва Амра подумала: собаки быстро справятся с кабанчиком, загонят, куда велел хозяин. Но кабанчик был так бесшабашно увёртлив, так стремительно поворачивался то к одной, то к другой собаке светлой своей мордочкой, что Амра, вообще-то свиной недолюбливавшая, кабанчиком просто залюбовалась. Она даже заплотировала, когда кабанчик притворно отступив назад, вдруг стремительно кинулся сперва на одну, а потом сразу на другую собаку.

Как раз во время второго броска пятнистого кабанчика война и началась. Объявил о ней бодро приковылявший к воротам родственников Амры старик Гог.

Отодвинув в сторону учебник «Теоретические основы сестринского дела», прямо из бамбуковой беседки кинулась она к дядиной издавшей виды «шестёрке», крикнула в раскрытые окна: «Ключи оставляю у нас дома», - и помчалась в Сухум. ...

4.

После того как председатель Верховного совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил всеобщую мобилизацию и приказал создать пять батальонов по 500 человек в

каждом, Амра сразу попыталась в один из батальонов вступить. Не взяли: возраст! Тогда, упробив знакомую паспортистку выдать вместо якобы утерянного паспорта справку о том, что ей уже исполнилось восемнадцать, она своего всё-таки добилась.

- С твоим зрением микроскопа не нужно, - шутила незнакомая, явно приезжая медичка, с беломориной в зубах, - небось, даже микробов в воздухе видишь, - хлопнула она звонко Амру по попе.

- Ворсинки на ушах у вас вижу.

- Да ты я вижу, девчонка бойкая! Ладно, второкурсница, в медсёстры сгодишься.

5.

Вместе с полевым госпиталем, куда её взяли уже безо всяких проволочек, северной Сухума, в Гудаутский район переместилась и Амра.

Отступление абхазских войск из Сухума было тяжёлым. Войска противника располагались теперь и с севера, и с юга, их наступление продолжалось с двух сторон. Однако в самые последние дни августа, после неудавшейся атаки на село Нижняя Эшера, отрядам грузинской Национальной гвардии был отдан приказ наступление прекратить. Через несколько дней, воспользовавшись затишьем, используя захваченное в боях, а также на российской военной базе в Гудауте оружие, абхазы перешли в наступление. Был отбит город Гагра. Дрались за него отчаянно. Может, ещё и потому, что бравый, молодой, отличной выучки грузинский генерал - в то время военный комендант Гагры - незадолго до взятия города выступил с телеобращением к продолжавшим боевые действия абхазским отрядам и пообещал в случае сопротивления войскам Госсовета, поголовно уничтожить всех этнических абхазов, на территории Абхазии проживающих. Это опрометчивое, - правда, как утверждали некоторые, просто неправильно понятое заявление, - и подлило масла в огонь.

В Гагре грузинские формирования оставили много оружия и боеприпасов, завозившихся в город по морю в течение месяца. Досталось абхазам и тяжёлое вооружение: десять бронетранспортёров и БМП.

Ситуация на фронтах с осени 1992 года до лета 1993 года оставалась без изменений. Противоборствующие стороны крепко стояли на своих позициях. Правда, в марте прошли тяжёлые бои на реке Гумиста.

6.

У Гумисты операция абхазских войск закончилась неудачей: весна, молодые, просматриваемые насквозь, мандариновые рожицы, скрыться было негде. Но приказ был

получен, нужно было атаковать мост через Гумисту. Противник сопротивлялся отчаянно. А тут ещё не всегда удачно действовала собственная артиллерия. Миномёты не раз и не два накрывали своих же бойцов минами и снарядами.

Амра в камуфляже - волосы длинные, на кончиках сами собой завивающиеся - уже вовсю воевала, а не только занималась перевязкой раненных, стреляла - иногда метко, иногда не очень по противнику из калаша. Трепетным мартовским утром её внезапно отправили севернее моста. Задача была вроде простая: разузнать и доложить о судьбе разведчиков посланных в тыл противника: от них уже второй день не было ни слуху, ни духу.

Там, близ моста, у одного из поворотов дорожного серпантина Амру и ранили в левое плечо. Кое-как перевязав себя, она отползла под мост, в какие-то негустые заросли. Бой вскоре почему-то стих, стал накрапывать редкий в этих местах в весеннее время года дождь, пуля застряла в мякоти, каждое движение вызвало тупую ноющую боль, кровь сочилась, двигаться в открытую было нельзя, нужно было ждать вечера.

Когда стало темнеть, ей стало хуже, началась лихорадка.

«Умирая все пчёлы выкидывают язычок», - внезапно вспомнила Амра слова из книги по пчеловодству и накрепко сцепила зубы. Однако зубы вдруг сами собой разомкнулись, рот широко раскрылся. «Всё? Конец?» - удивлённо подумала Амра, и мысль, как та убегаящая со сцены танцовщица в парной лезгинке, её на цыпочках покинула.

Из укрытия Амру вытащили те самые разведчики, за которыми её посылали. Очнулась - в своём же госпитале. Смеялась: сперва перевязывала она, теперь перевязывают её.

7.

Взяв Гагру и установив контроль над стратегически важной территорией, прилегающей к российской границе, абхазские формирования стали готовиться к наступлению на Сухум. Оно, это наступление, третье по счёту с начала 1993 года, началось утром 27 июля.

Но тут опять незадача! После длительных боёв, в результате которых абхазами был полностью блокирован Сухум, и войска противника оказались в полном окружении, в Сочи было подписано соглашение о временном прекращении огня. Такое перемирие абхазов вынудили подписать тогдашние руководители России, тесно связанные с руководством Грузии. Узнав обо всём этом, Амра забралась в густой лесной подрост, легла там на живот и впервые за всё время боёв, разревелась.

8.

Пчела собирает мёд всегда. И во время стрельбы и во время затишья. Лишь бы - солнечно и светло было. В одиночестве пчела размышляет туго. Маловат её мозг для того, чтобы удерживать большой запас сведений. Правда, в результате постоянных контактов друг с другом пчелы образуют некую общность, определяемую наукой, как мозг семьи. Этот самый мозг семьи по своей вместимости - от 7 до 8 миллиардов нейронов – вполне может соперничать с мозгом развитых млекопитающих, к примеру, дельфинов, у которых ёмкость мозга 8—10 миллиардов нейронов. Пчелы способны вносить существенные поправки или выправлять поведение у новых ещё только складывающихся поколений своей семьи. В период, когда семья не в состоянии оперативно упорядочивать и совершенствовать свои действия из-за зимних холодов, она ведет себя подобно «умной машине», определив загодя все возможные обстоятельства и опасности тяжкого периода жизни.

Обо всём этом Амра не раз вспоминала, когда удавалось отстраниться от мелочей и увидеть общий ход войны. Люди, как и пчёлы, после хорошей выучки умели действовать слажено. И лишь когда каждый мнил себя свободным охотником и главным руководителем войны, случались разные неприятные и даже отвратительные истории.

9.

Начиная с 16 и до 27 сентября 93 года разгорелись и, казалось, длились бесконечно, тяжёлые боестолкновения, которые позже стали именовать – на вкус Амры слегка высокопарно - «Битвой за Сухум».

Абхазские формирования отринули навязанное им перемирие и возобновили наступление. Для усиления своей группировки грузинское руководство пыталось перебрасывать войска в Сухум на гражданских самолётах. Абхазы, сумели сбить из ПЗРК Стрела-2 и других установок несколько самолётов, заходивших на посадку в аэропорту Сухуми, который контролировался в то время грузинскими войсками.

25—27 сентября по ходу ожесточённых боёв абхазские формирования шаг за шагом занимали господствующие высоты и стратегические подходы к городу, чем вынудили грузинские войска к исходу воскресенья 26 сентября покинуть Сухум, при этом оставив в окружении правительство бывшей Абхазской АССР, состоящее главным образом из их соплеменников.

В понедельник 27 сентября 1993 года, рассветным утром, вместе с войсками, пешком, с калашом в руках и двумя подсумками на плечах, Амра вошла в Сухум.

Сразу попросилась домой: живы ли? По дороге попалась соседка, сказала – все живы-здоровы. А вот у неё у самой от разорвавшейся мины погиб брат.

- Всего тридцать лет было, всего тридцать, - причитала соседка.

По пути Амра хотела забежать в училище, но встреченные знакомые подсказали: в связи с военными действиями училище закрыто. Всё-таки она свернула на Адыгейскую улицу, и там, в саду разбитого бомбами дома, увидела обезьяну.

Это была маленькая красноглазая макака. Скорчившись, и чуть касаясь спиной огромного чинара, сидела она. Рядом, на камне, чернела засохшая кровь. Амра на цыпочках подошла, хотела погладить обезьянку.

- Вы её не трожьте, - услышала она русскую речь, с сильным акцентом, - она если выживет, то и так выживет.

Немолодой армянин, вздыхая, подошёл, поклонился Амре или скорей её камуфляжу, виновато прокашлялся:

- Она из Института экспериментальной патологии и терапии сбежала. Их всех оттуда выпустили. Клетки раскрыли и выпустили.

- Вы врач?

- Нет, учёный. Работал в Абхазском научно-исследовательский институте истории, языка и литературы. Имени Гулиа. Наш архив их войска сожгли. Весь, полностью. Все архивные документы и материалы по истории Абхазии и её населения погибли. Что уцелело – носили, кидали в огонь. Так же и со знаменитым обезьянником: макак, гамадрилов и других - солдаты выпускали из клеток, крича: «Пусть бегают по улицам и грызут абхазцев». Ну и разное другое кричали. Не хочу повторять. Известное дело – война. Так они люди как люди. А на войне – хуже зверья!

Амра продезинфицировала и перевязала вынутым из армейского подсумка бинтом раненную обезьянью ногу. Взяв слегка ожившую обезьяну на руки, не заходя домой отнесла её в Медучилище, сдала с рук на руки сторожу дяде Григолу.

- Вот тебе, Григол Иванович, антисептик. И бинты возьми. А я побежала к Дому Правительства...

10.

Звиад, до войны заведовавший связью в Доме Правительства и так в нём по инерции и оставшийся, в своей комнатке на 12 этаже вдруг чутко замер. Но тут же и сообразил: тишины испугался! Почему прекратился беспорядочный обстрел, и внезапно стихли крики - он не знал и даже не мог предположить. Эта длящаяся уже больше года война его, прирождённого технаря и любителя электронных новинок, раздражала своей

безграмотностью и свинством как с той, так и с другой стороны. Звиад встряхнул головой: при этом ни один волосок его плотных каштановых завитков даже не дрогнул. Сонное личико - симпатичное, детское, в меру горбоносое, в меру улыбчивое, с едва заметными веснушками на светлой коже - скривилось.

«То, что ты любишь, тебя и погубит», - неожиданно выпалил вполголоса Звиад и стал с ещё большим раздражением собирать и упаковывать свою радиостанцию.

Штурм Дома Правительства начался ещё в 10.30 утра с правой стороны здания, и Звиад уже тысячу раз проклял себя за нерешительность. Что ему, гражданскому с этими войсками делать? Кто ему вообще те и другие? На минуту Звиад прикрыл глаза и представил, что войны нет. Но представить не удалось. Казалось, прямо в мозгу разрывались снаряды, звучали крики, выстрелы и всё другое, мешавшее установиться в его ушах чистому и благородному эфиру.

11.

С верхних этажей центральной части здания по атакующим били «военспецы» из украинской организации УНА-УНСО. Об их численности и этническом составе сообщил абхазам запиской вложенной в камень свой человек в Доме Правительства. Снайперов из УНА-УНСО пытались подавить огнем пулеметчики, а также снайперы кабардинской разведгруппы. Одного из пулемётчиков Амра знала, остальных из этой группы – нет. С нижних этажей и окон второго этажа густо вели огонь спецназовцы из охраны Шеварнадзе и члены прогрузинского правительства Абхазии во главе с Жиули Калистратовичем Шартавой, который, как позже узнала Амра, до последней минуты оставался на своём месте, несмотря на то, что возможность покинуть город у него была.

- Если не уважаешь врага – он тебя победит, - вспомнила, узнав про Шартаву, слова своего командира Амра.

Ей даже на минуту показалось, что она любит этого непреклонного человека за решимость, за смелость...

Однако всё это зазвенело в её ушах, а потом и пронеслось перед глазами – значительно позже.

А тогда, перед входом в Дом Правительства было не до любви, не до симпатий и антипатий: на площади ловко крутился и маневрировал бронированный БРДМ-2, или, как и в тех и в других войсках его называли - «Бардак». Этот самый «Бардак» не оставлял даже трёх-четырёх секунд для посторонних мыслей и возгласов.

Своим огнём из пулеметов КПВТ и ПКТ «Барадак» не давал абхазским войскам и присоединившимся к ним добровольцам по-настоящему наладить штурм здания.

Пулемёты танковой модификации, установленные на разведывательно-дозорной машине, особенно досаждали штурмующим. Амра уже пробралась к первой линии и слышала, как эти пулемёты крыли матом передовые бойцы, ряды которых неотступно редели. Особенно доставалось от бойцов крупнокалиберному пулемёту Владимирова, КПВТ. Амре даже стало обидно за этот пулемёт. Но выхода никакого не было: пулемёт надо было, как можно скорей, уничтожить. Только, что мог противопоставить её «калаш» ураганной густоте немолкнувшего пулемёта?

Вскоре кабардинских добровольцев поддержали огнём бойцы армянского батальона имени маршала Баграмяна. Через восьмисотметровую площадь они открыли шквальный огонь из гранатомёта и пулеметов. Ещё через несколько минут кабардинским добровольцам помог расчет скорострельной зенитной установки ЗУ-23-2.

«Зушка», стрелявшая из двух длинных, спаренных авиационных пушек 200-граммовыми снарядами, быстро утихомирила сразу несколько огневых точек на верхних этажах. И почти тут же доброволец Артур, - кажется, его фамилия была Кармоков, Амра знакома с ним не была, но что-то хорошее о нём слышала, - выбежав на открытое место, из РПГ-7 - ручного противотанкового гранатомёта с оптическим прицелом - подбил бронированную разведывательно-дозорную машину. Но почти тут же погиб от пули снайпера. Целых полчаса добровольцы вели бой, чтобы вынести тело погибшего из-под огня. Позже выяснилось: убит Артур был отравленной пулей.

Бой всё ещё продолжался. Амра оттаскивала раненных вглубь квартала, оттуда их отправляли в санчасть. Иногда, в перерывах, водила дулом автомата по нижним этажам здания: не сдаются ли, не бегут ли?

12.

Соппротивление прекратилось неожиданно: лопнуло и стихло, как струна на походной гитаре. Дым из окон клоками и полосами висел над площадью. На этажах могли быть раненные. Вслед за разведгруппами и группой зачистки Амру и ещё нескольких послали этих раненных вывести или вынести.

- На верхних этажах могут быть снайперы или те, кто не успел убежать.

Осторожней там, - бережно взял Амру за руку, один русских командиров.

- Да я - пчёлкой: метнусь наверх и всё проверю!

— Давай, догоняй своих!

Отставшая было Амра быстро всех опередила. Когда добралась до девятого этажа – вдруг из боковых дверей двое в камуфляже: вокруг лбов узкие картонки с надписями на

грузинском. Она отпрыгнула в сторону, завертелась на месте на одной ноге и громко расхохоталась. Двое камуфляжных опешили. Амра сделала кувырок вперёд.

Кулак Вечной Весны сжался до боли и вонзился, как показалось, уже в мёртвые тела: в одно, потом в другое. С пробитыми насквозь трахеями двое рухнули наземь. Тут же вместо того, чтобы спрятаться – может за дверью кто ещё? – она со сладостью вспомнила ручей, впадающий в Кодор, маленькое зелёное тёткино хозяйство, дымчато-серого в пятнах кабанчика. Амра опять, но уже тише рассмеялась, потому что поняла: она невольно повторила движения кабанчика, ловко обманувшего тогда двух собак - в сторону, назад, затем неожиданно вперёд.

Лёгкой пчёлкой метнулась она по витой лестнице выше, выше, на 11-й этаж. Там, в одной из комнат, на миг застыла. Но мигом определив рост человека, – по видневшимся из-под портьеры небольшого размера ботинкам - одним выстрелом уложила вздумавшего играть с ней в прятки. Раздался женский крик, затем короткая хрипая фраза на непонятном, то ли финском, то ли эстонском языке.

Тут же, сдирая портьеру, перевернулась и упала на бок, прямо в осколки стекла и сор невысокая белокурая женщина. Амра бережно иностранку потрогала: думала даже отнести вниз. Но помочь белокурой было уже нельзя. Так и не закрывшийся прицельный правый глаз, с особым прищуром и словно бы чуть обожжённый - их учили отличать «кукушек» от обычных бойцов, - явно свидетельствовал: перед ней женщина-снайпер. Итальянский золотисто-серый плащ снайперши, натянутый на полуголое тело, чужие, явно не по размеру, обнажавшие полужопицу камуфляжные штаны...

«Сексом она, что ли тут во время штурма занималась?»

Амра закрыла снайперше глаза и побежала выше, на 12-й. Вдалеке раздался голоса санитаров, тащивших кого-то вниз. Сопротивлявшихся больше не было, всех оставшихся в живых увели. Внезапно одна из дверей на этаже – в треть человеческого роста, явно ведущая в какую-то кладовку - дрогнула. Амра - туда. Вместо грозных вояк за дверью обнаружился какой-то ботаник: тонкоусый, в жёлтой безрукавке, нежный, красивый, ломкий. Такого можно было кончить шутя. Амра вскинула автомат.

- Ты меня убьёшь?

- Сильно ты мне нужен. Почему не ушёл со своими? Отвечай! Тут одни снайперы оставались.

– Они мне не свои. Я мингрел. Они меня не любят. Я электронщик и радиотехник высшего класса, а они убийцы. Ты тоже женщина-убийца.

– Я серая каменная пчела, - сдержанно усмехнулась Амра. – Идём, выведу тебя. Если что – ты был медбратом, воевал с нами у моста через Гумисту. Понял?

– Нет, застрели меня. Я не знаю, для чего живу. Техника, компьютеры, частоты, мегагерцы разорили моё человеческое естество. Война доконала. Я теперь не мингрел, я разграбленная горная деревня. Или человек, выживший после «мингрельского дела».

- Что за дело такое? Говори быстрее, а то застукают нас.

- Потом, если выживу, расскажу.

- Нет. Говори сейчас.

- Так это давно, в 51 году было, - заторопился он, - обвинили нас тогда в мингрельском национализме. Сначала одних мингрел расстреляли. А потом и тех, кто отдавал приказы расстреливать, уничтожили! А они тоже мингрелы были. Понятно теперь?

Амра вдруг засмеялась.

- Что смешного? Страх смехом прикрываешь?!

Двумя-тремя этажами ниже раздалось несколько коротких автоматных очередей.

- У меня нет страха. Я всегда весёлая. Просто ты смешно сказал: расстреляли, а потом опять расстреляли.

- Что ты понимаешь? – ещё сильнее вскипел он, - сначала некоторых расстреляли как мингрельских националистов. А чуть позже тех, кого их приказал расстреливать – как участников «банды Берия». А нас и так мало осталось. Князя Дадияни в XVII и XVIII веке продавали туркам от десяти до пятнадцати тысяч мингрельских мальчиков-христиан ежегодно, а князя Гуриели – те и до двадцати тысяч человек в год. Грузинская Церковь пытались, как могла этому препятствовать. Но только ближе к середине XVIII века, когда Колхида почти совсем обезлюдела, вышел указ работоторговлю прекратить. Но и после указа продавали! Торговали мальчиками всюду на невольничьем рынке, в Стамбуле. Поняла теперь?

- Всё, побежали... Тебя как зовут?

- Звиад.

- Давай Звиад, за мной, а то кончат тебя прямо здесь.

Они побежали вниз по лестнице, пробрались в тылы Дома Правительства. Через окно второго этажа спрыгнули не на площадь - на противоположную сторону. Звиад попросил остановиться, отдышаться.

- А позже парней ваших тоже продавали? – спросила, останавливаясь, Амра.

- Позже - перестали.

- Что, вот так прямо взяли князя и от бабла отказались?

- Ну, я не знаю как.

- Зато я знаю. Пришли русские и запретили торговать рабами.

- Русские такие же подонки, как турки, как и все остальные! А мы... мы, мегрелы, просто жертвы для всех. И для них, и для вас!

Грязным кулаком Звиад стал тереть правый глаз. Но Амра чётко видела: слёз не было, было лишь их предчувствие.

Она подхватила Звиада, как стебелёк, перекинула через плечо, тяжело ступая, побрела с ним вглубь квартала.

13.

- Стой! Ара уааи! Иди сюда!

Они остановились. Звиад встал на ноги. Полузнакомый доброволец с калашом, чёрный от копоти, с прижмуренными от дыма глазами то улыбался, то опять хмурился. Что-то его, видно, томило.

«Кого-то недострелил, кайфарик...»

- Абапс! Кого я вижу? Амра, ты? А это кто с тобой?

- Это - наш. Он со мной у Гумисты был... Его сегодня контузило. А вчера его поймали и в Совмине держали. Рации чинить заставляли. А общем - халам-балам, то, сё...

- А-а, – злобно протянул кайфарик, - друг, значит? Ну-ну. Ара маджь, чувак!.. Ладно, чёрт с ним. А тебе, Амра, чмок! И ещё раз - чмок!

Кайфарик воровато озирнулся и мелким воробыным шагом, пошёл, почти побежал куда-то совсем в противоположную от боестолкновений сторону.

Амра ещё раз глянула на тонкоусого мингрела и война ей в один миг опротивела.

- Ты где живёшь?

- В Зугдиди.

- А там – где?

- На улице святой Нины.

- Ух ты. До границы тебя, конечно, доведу. Дальше - сам. Пойдём вдоль побережья, а в опасных местах по краю гор. Я только отпрошусь. А ты в заброшенном доме пока посидишь пока. Знаю тут один...

14.

Ночью пришлось подняться в горы: на побережье стреляли.

Про полузаброшенную плетёную хижину – амхару – стоящую в этих местах Амра давным-давно от кого-то слышала, потому и свернула куда надо. Хижина как хижина: крыша – конусом, стены изнутри обмазаны глиной. Посреди комнаты – подпорка, упёршаяся в верхнюю точку плетёного шатра. Внутри - тахта, умывальник, стулья, стол.

От этой простоты и обыденности Звиад почему-то сильно разволновался. Амра это сразу заметила и про себя усмехнулась: «Видно женщины на него внимания мало обращали».

Здесь выстрелы были неслышны. Электричества не было, на столе керосиновая – под бронзу - лампа. Рядом – коробок спичек. Амра повертела коробок в руках и вышла во двор. Автомат на всякий случай взяла с собой.

Когда вернулась – Звиад уже спал. Бочком прилегла на тахту: «Не на пол же? Да и согреться хорошо бы».

Но согреться не удалось. Послышались голоса.

- Быстро вставай здесь есть второй выход.

Они спрятались в куче мелких сухих веток, Амра приготовила автомат и прислушалась.

15.

Мимо их амхары – отступали несколько грузин. Двое впереди, за ними ещё трое. Это были уже не войска – скорей мародёры. Амра, хорошо знавшая грузинский язык, разобрала всё до ниточки. Отступающие говорили о разном и в разговоре о поражении ничуть не сожалели. Думали и говорили о поживе. Посреди грузинской речи кто-то два-три раза вставлял украинские слова. Ни нотки печали в этих словах тоже не было. А выходило из этих слов вот что: грабить нечего! Двух макак взятых с собой из сухумского обезьянника, как стало понятно, они выкинули по дороге. Не было поживы - ушёл смысл войны. Осталась одна злость, свойственная мародёрам всех стран и народов, когда их оставляют пусть без плохонькой, а добычи!

Следом за грузинами шли абхазы. Она вышла и поприветствовала командира Виталика, сказала: здесь на задании, потом пойдут южнее. Тот предупредил: на юг идти нельзя, там обнаружилось сразу две группы противника, по несколько десятков человек каждая. Но скоро путь будет свободен. Сквозь густой кустарник, командир полез выше, в горы. За ним остальные...

В наблюдении и выжидании прошёл день. Вечером Амра и Звиад сидели на камне спинами друг к другу и неотрывно смотрели: она на север, он на юг.

- Я всё равно не дойду, - сказал Звиад.

- Надо идти в Зугдиди. Или давай вернёмся в Сухум. Нерешительность нас погубит. Может, кто по дороге на машине подхватит.

- Ты мне не жена, не командуй.

- Я с тобой спала, можно считать жена.

- Я ничего не помню! - вдруг нервно крикнул он.

- Врёшь. А кого белой ласточкой называл?

Звиад внезапно заплакал:

- Прости, я всё помню, но не знаю, что мне делать. Ты белотелая, гибкая, нежная. А я... я...

- Ты изнервничался. Хочешь, потом, позже сходим в церковь? Я не тяну тебя обвенчаться. Просто поговоришь со священником. В Новый Афон могу свозить.

- Тут останусь. Посижу, несколько дней подумаю. Потом, может, и приеду в Сухум.

- Ночью ты был сильный, а сейчас – слабак слабаком!

- Что ты болтаешь, женщина? Ты знаешь, какими воинами были мингрелы, пока их не начали изводить под корень?

- Я высоко ценю твой народ. Но ты сам подумай...

- Нет, лучше ты послушай:

Наши мингрельские войска, они всегда состояли из кавалерии. Причём в панцирях! Если б ты видела эту красоту! Сверху — чёрная чоха с закатанными рукавами, под панцирем — чёрная шёлковая рубаха. Мы называем её ахалухи. Широкие удобные красные шаровары и облегающие ногу высокие сапоги с острыми носами. На голове башлык. Под ним – кольчужная сетка. В книгах давнего времени писали: «Пришли три тысячи свирепых мегрельских горцев, полностью снаряжённых и вооружённых, закованных в стальные панцири и с обнажёнными руками, верхом на своих скакунах они навели священный трепет на окружающих...» Поняла?

Ещё день прошёл в тишине, в ожидании боя или нового нападения. Жизнь топталась у порога амхары, не решаясь ни войти, ни покинуть Звиада и Амру.

Истерзанная грубо освежёванным горным утром, Амра решила спуститься в долину. Звиад остался.

Не успела Амра скрыться в зарослях, появилось ещё несколько отступающих из Сухума.

- Мы в бинокль видели – тут баба ещё была. Жена твоя, что ли?

- Нет, не жена! Всё равно не трожьте её, загрызу!

- Я спросил – кто она? Русская, армянка, абхазка?

- Украинка, - соврал на всякий случай Звиад.

- Что ты гонишь? Я по фигуре видел: абхазка. Так или нет, Микола?

- Ну.

- А ты сам кто? Соврешь, удавлю.

Старший прижал горло сбитого на землю и лежащего на спине Звиада рифлёным армейским ботинком.

- Ну, говори?

- Я мингрел, - прохрипел Звиад, а её вам не взять.

- Хіба ж вона нє баба? Вóзьмемо, ще як вóзьмемо! Дə вона скажи? Як її зваты?

Старший сильнее нажал ботинком на горло, вынул пистолет, нацелил на низ живота.

- Амр-ра, - словно прося прощения, прохрипел Звиад, - там она, внизу.

Старший, гадливо отвернулся и выстрелил.

- Закопаты його?

- Не надо. Пусть звери полакомятся.

Амра издалека услышал выстрел.

Хижины с её позиции уже не было видно. Перебежками, кинулась вверх. Залегла, всмотрелась, вмиг всё оценила.

Высокий курил, двое поменьше росточком тащили скорей всего уже мёртвого Звиада с тропинки в сторону. Амра вскрикнула, но тут же зажала рот рукой. Потом вскинула автомат: все трое были как на ладони. Но вдруг оружие опустила. Мстить внезапно расхотелось. Сердце, всё быстрее и быстрее наполнялось горем, и месть вылечить его не могла.

Амра закрыла глаза: скупые слезы прощения и прощания с чем-то навсегда ушедшим, стрельнув из глаз, потекли по щеке. Она не стал убивать мародёров, хотя лежала удобно, и патронов было достаточно.

«Если за смертью идёт смерть, - то за ней придёт ещё одна, другая, сотая. Что я могу? Могу их завалить. А хочется мне этого? Нет, хочется оживить Звиада, посидеть с ним на закате спиной к спине, потом поехать в Зугдиди, пройти по улице святой Нины...»

16.

Серо-золотистая каменная пчела возвращалась к себе домой.

Амра тоже возвращалась к себе самой, какой она была до войны. Похоронив Звиада с помощью хозяина амхары дяди Васо и его жены рядом с хижиной, сказала:

- Он был настоящим мужчиной. Выжил бы - стал воином. Крест ему высокий поставьте, я денег пришлю.

- Ты молодая, не знаешь. Эта амхара – она для новобрачных предназначена. Дед мой для отца строил, а тот нам с женой оставил. Мы с женой новых новобрачных не создали. Твоего убили. Значит, теперь эта амхара будет местом упокоения. Может, для чего-то так было нужно.

Про предательство, которое по мёртвым губам Звиада сразу прочла Амра, дяде Васо она ничего не сказала. «Губы его, может, и предали. А душа... душа себя не осквернила, нет. Может, и предательства не было. Может те трое, крича, подманивали по имени не её, а какую-то другую Амру? Вложив автомат в мешок дяди Васо, она поймала попутку, поехала в Сухум.

Там незаметно для себя, продолжила путь рабочей пчелы: отдать деньги, собрать вещи, помочь друзьям. Для себя – нуль. Всё для них: медок улыбок, пыльцу слов, воск тёплых рук. Конечно, век у женщины длинней, чем у пчелы-абхазянки. Но и опасней. Она чувала это нутром, знала точно и без всяких размышлений. Переставая хоть на миг быть хлопотливой пчелой, она переставала понимать - зачем жить. Но тут же мысли ненужные пресекала:

– Абапс! – удивлённо вскидывала она тонкие бровки, - как это зачем? Целая жизнь впереди, она меня и научит.

17.

Через две весны, закончив медучилище, Амра приехала в Москву, и в тот же день, разыскала Военный институт Минобороны. А вечером, в Отрадном, налетели на неё сзади какие-то гопники. Оглушили, стали стаскивать одежду. Хорошо русский мужик защитил. Мужика этого она узнала случайно. Жить было негде. По совету вахтёрши из институтского общежития поехала к чёрту на кулички в Отрадное. Найдя адрес, толкнула калитку, ведущую во двор дома, рядом с которым угрюмый мужик чистил шомполом старинное охотничье ружьё. Мужик оказался сторожем, ружьё ему выдали по разнарядке.

Разговорились. Страх, которого она не знала, сражаясь за Гумисту и на верхних этажах горящего Дома Правительства, стал исчезать.

Сторож этот вечером в Отрадном ей и помог.

Русская жизнь показалась сперва дикой, страшной. Однако уже на следующий день она прошла собеседование в Военном институте. На вопрос, почему захотела учиться на военного психолога, ответила уклончиво:

- Хочу понять, откуда берутся войны, - сказала, - хочу проследить рождение и путь войны. Она летит и звенит, надоедливо и гнусно, как огромный шершень... Многие думают: осы и шершни близкие родственники пчел. Но шершни - крылатые разбойники. За счет большего размера и силы они нападают на пчёл, отбирают мед и с удовольствием его пожирают. И ещё: осы и шершни уничтожают только слабые пчелиные семьи. Абхазия – пчелиная семья. Она должна стать сильнее. А психология – это полёт и сила. Хочу быть военным психологом, чтобы объяснить пчёлам: не надо бояться ос!..

До экзаменов оставалось несколько дней. С новой подругой из Краснодара Амра поехала в Рязань, к деду подруги, подполковнику в отставке.

Военный городок в Сасово покорила Амру чистотой и тишиной. А ещё множеством маленьких учебных самолётов.

- Путь пчелы, говоришь? Так он как раз через наше лётное училище и пролегает! Я здесь преподаю. Хочешь сегодня же на «Пчёлке»-тренажёре полетать: на малых высотах, низко над землёй, как штурмовики в войну? А потом на «Пчёлку» настоящую переседешь. Короче, баста! Чем тут чаи гонять, идёте, посажу вас на тренажёры. Подруга фыркнула и осталась болтать с женой подполковника: она втихаря готовилась в театральный.

Амра осталась учиться и закончила Сасовское имени Героя Советского Союза Григория Тарана лётное училище гражданской авиации с отличием.

Путь воздушный, путь рабочей золотисто-серой пчелы-абхазянки манил её всё сильнее. Её звали остаться в Рязани. Невысокий – чуть ниже её - паренёк-штурман Петечка смотрел с обожанием. Но она решила уехать:

- Абхазии нужна авиация, приезжай, если захочешь, - сказала она Петечке, улетавшему на следующий день в командировку с неоглашаемым местом назначения, - и дружески поцеловала его в щеку.

18.

Петечка – не приехал, говорили погиб где-то под Грозным.

Чёрное море слегка осветляло печаль. Золотистые-серые пчёлы-абхазянки на дедовой пасеке были всё те же хлопотуньи и заботницы. Правда, самого деда уже не было. Но его «Волга», отписанная Амре, ходила легко и своим планомерным движением её всегда успокаивала...

19.

В Новом Афоне, в тихом ресторанчике, на островке, как раз напротив монастыря, я услышал эту историю от Джансуга, нового своего сухумского знакомого. Не удержался, спросил, где Амра сейчас.

- Здесь, рядом, Сухуме. Но чаще всего её видят тут неподалёку, в Бабушарах, на старом аэродроме. «Пчёлку» ей неисправную морем, наконец, откуда-то доставили, сейчас чинят, ставят приборы. Захотите – поедem, издалека на Амру Вахтанговну глянете. Близко к своему хозяйству она никого не подпускает. Помешана на том, чтобы встала на крыло наша собственная авиация. Нам ведь международные организации все полёты запрещают, и аэропорты новые строить не разрешают. Но Амра потихоньку летает и других девушек учит! Может, ещё и книжку про ту войну напишет. Вам, уважаемый, её покажет.

Лётно-учебное поле для военных самолётов в Бабушарах рядом с так и не заработавшим международным аэропортом было небольшим, стояли два «кукурузника», одна «Сессна» и «Пчёлка», о которой говорил мой новый знакомый. Ладная, на вид никак не больше тридцати с небольшим, женщина, в перепачканном маслом сером комбинезоне, подгоняла неспешных рабочих. Она и впрямь, словно летала между ними. Весёлость и энергия чуялись в каждом её жесте.

Я закрыл глаза: красота и решительная мягкость этой танцорши полёта поразили меня. И потом: Амра была похожа и не похожа на восточную женщину: в сорок с лишним лет никакого «отцветания», никакой дряблости, отёчности или «вдовьего горба» чуть пониже шеи! Видно, стремительный, слитый намертво с летательным аппаратом полёт омолаживал верней воды, быстрее воздуха!

- Вот-вот, - заметив моё состояние, засмеялся новый знакомый, - и вы под её очарование попали.

По дороге из Бабушар остановили машину, вышли продышаться. Серая каменная пчела, низко над землёй вильнув в сторону, ушла в направлении скал. Полёт пчелы был увлекателен, чуть угловат, немного странен, именно поэтому за ним хотелось неотрывно следить, движения пчелы повторять.

20.

Поймав себя на произвольном вскидывании рук, я закрыл глаза. И сразу вспомнил фотографию своего дяди, Бориса Ивановича Евсеева, стрелка-радиста летавшего на тяжёлом бомбардировщике ТБ-3. Дядя был сбит и навсегда погрузился в Чёрное море в июле 1943, как раз недалеко от этих мест. При этом, молодость его, как мне

кажется, длится и длится, потому что назван я был в честь Бориса Ивановича, и живу теперь и своей, и его жизнью.

Вспомнился и другой дядя - старший лейтенант Виктор Иванович Евсеев: дважды подбитый, трижды горевший, посадивший осенью 44 года свой штурмовик на территории Польши, и не выданный немцам стариком-поляком. Десять дней отсиживавшийся в медвежьей яме, прорвавшийся с боем к своим и два месяца под арестом пытавшийся доказать особисту со стальной шеей и мёртвыми глазами, что случайно остался жив. А штурмовик Ил-2, который он посадил на пузо, сгорел и взорвался, и к своим он шёл потому, что хотел летать и летать: обожженным, раненым, с закрытыми или открытыми глазами! Летать и не гибнуть, летать и гибнуть от восторга невыносимо острого бреющего полёта над самой землёй!

Дядя пережил всё: особиста с мертвыми глазами, арест, допросы, сложную боевую обстановку последних майских дней 45-го. Но пережить гражданскую войну в Донбассе не смог. В 2016 году от волнового удара разорвавшегося рядом с домом снаряда на 94 году он упал навзничь, сломал шейку бедра, опочил.

Вспомнил, я и матушку свою, Анну Ивановну, страстно желавшую стать лётчицей и не прошедшую медкомиссию по зрению. И снова подумал про Амру Вахтанговну, про её не уходящую молодость. И тут же, на коленке стал всю эту историю заносить на согнутый пополам листок, потому что вдруг осознал: путь пчелы ещё не завершён и его незавершённость – первый признак жизни и подлинности!

Бой за реку Гумисту, марево весенних мандариновых садов, Дом Правительства с сожженными деревянными перилами и полуразрушенными каменными лестницами виделись теперь как бы сквозь контурное, ставшее огромным лицо Амры. Её губы становились сдвоенной морской волной, ямочки на щеках прозрачно просвечивали сквозь сады алычи, быстрые смугло-молочные руки перебирали на рынке сухие, но впитавшие в себя всю сладость жизни плоды смоквы. Вечная улыбка Сухума была в её волосах, вечная женственность рисовалась под лётным комбинезоном.

21.

«Мир тебе Амра. Мир тебе, золотая абхазянка, несущая нам незабвение и горчащий мёд воспоминаний»!

- Мир всем нам, – сказал я негромко вслух.

И густо заштриховал в рукописи двух зелёных обезьян с отрезанными головами и растерзанными пахами, о которых, стесняясь гнусных подробностей, рассказал мне крепыш Джансуг в залитом солнцем и словно бы парящим над землёй Новом Афоне.

СИЛА ЗАБЛУДШИХ СТРОК

Опыт оправдания случайного человека

Чем дольше живу, тем чаще вспоминаю случайных, казалось бы, людей. По временам мимолётные встречи вообще начинают представляться самыми важными. Означает ли это, что, не попытавшись продолжить встречи со случайными людьми, прошёл я в жизни мимо чего-то наиважнейшего, к чему надо было каждый день возвращаться? Думаю, нет. Думаю, случайные столкновения улыбок и тел в жизненном пространстве – и должны остаться краткими и мимолётными. Теперь по опыту знаю: мимолётные сигналы чувствительней сигналов ежедневных – усталых, унылых.

Правильней всего понимать эти случайные встречи как указатели. Бегущие строки этих указателей таинственно мерцают именно для того, чтобы задуматься об ответственности за инерционную, якобы «раз и навсегда ниспосланную сверху», туповато уставленную в одну точку и не поддающуюся импровизационным, или хотя бы синкопированным сдвигам жизнь. Поэтому – дудки! Никакой свинцовой предопределённости не существует. Как говорил в давние времена Иоанн Дамаскин, прозванный за умноречие – Отец Золотой Поток: «Бог всё предвидит, но не всё предопределяет».

Живу и всё ясней понимаю: случайность страшна! Страшна и трагична тем, что неповторима.

Случайность сладка. Сладка тем, что оставляет надежду её объять – не умом, так душой.

Случайность – сильна. Её удар под дых, после которого она, как великанша, бережно тебя встряхивает и требует: освободись от липкой болотной тины – необорима!..

Теперь о неподготовленной речи и быстрых строках, закрепляющих случайности на письме.

Строки – как люди: живут и умирают, умирают и снова живут. Они блуждают во тьме бессознательного и часто в нём навсегда исчезают. Но иногда эти заблудившиеся строки являются в нашу жизнь. И как раз затем, чтобы подчеркнуть какую-то важнейшую особенность нашей собственной судьбы, связанную с нашим будущим.

Строки заблудшие, строки закрепляющие случайность, поначалу рвутся, дрожат, снова рвутся...

Заблудшие строки – корпускулярны. Их крошечная плотность, их малое тельце иной раз проскакивает перед внутренним взором так быстро, что от удивления не успеваешь разинуть рот. И хорошо, если строки эти отзовутся эхом хотя бы в одном сознании, если останется от них случайный рисунок или пусть даже сломанный контур...

Сами люди – тоже сходны со строчками. В сжатом виде судьба каждого из нас и состоит всего из нескольких строк. И нельзя подобно непутёвому актёру бездумно вычёркивать из предпосланного текста одни строки и вставлять другие: покрасивше, поудобней, или такие, которые будто слизаны нашим муравьедским языком из корзинки с хламом и сором. Судьба за это накажет! Правда, в изменение судеб в ходе своей жизни, мало кто верит. Вот потому-то читая чужие судьбы вкратце, втискивая их в один абзац, часто видишь лишь жалкую человеческую подмену божественной мудрости. Глянешь на чью-то судьбу, а она вся состоит из тягучих, мучительно-ненужных, самим человеком дописанных строк, когда-то обманчиво заполнявших пустоту его жизни.

Но есть, к счастью, единично-случайные не расплюснутые молотом быта люди-мгновения. Они не летают громадной, колышущей рваными краями стаями скворцов, похожих на скопища чёрных душ. Они мелькают поодиночке. О таких обычно не пишут: пронеслись и ладно!

Но мы-то всё равно о них вспоминаем. Неясно только, что именно вспоминаем: сам случай или сладко-ноющую занозу, оставшуюся после него?

Допишу рассказ - узнаю. А пока - по первым прикидкам – передо мной: краткий «Опыт оправдания случайного человека».

Санька-Храм

Мелькнул в моём детстве и навсегда исчез, на долгие десятилетия забытый, а теперь раз за разом припоминаемый – Саня-Храм. В детстве он всегда появлялся неожиданно, вырастал как из-под земли. Я его ждал, выглядывал, подходил к дедову забору, вставая на цыпочки заирал в Санькин двор. А он вдруг выходил из-за угла нашей беседки или поднимался из зарослей смородины. Был он старше на год, выглядел на все десять, хотя ему только что исполнилось восемь, и намного лучше меня разбирался в жизни. Не то, чтобы мы неужемно дружили, но какая-то биологическая связь между нами явно была. Храмом Саньку звали не за посещения церкви, - тогда это было не принято, - а за хромоту. Хромал он чуть заметно, но хромота его запоминалась своим изяществом и

аккуратностью. Может, потому, что каждый раз наступая на повреждённую ногу, он лучезарно – по-другому не скажешь – улыбался. Отхромав, он садился за стол и пил молоко. Никто и никогда не пил так молоко из блюдечка: истово, причмокивая и даже двигая ушами. Только соседский телёнок, вылизывающий остатки молока из миски, был чем-то на Саню похож.

Говорил Саня-Храм медленно - с паузами и очень образно. При этом книг ни в детстве, ни подростком не читал, радио не слушал. Зато любил рисовать на песке или вычерчивать на снегу разные фигурки. Рисовал он хорошо, а вот писал неграмотно. После второго класса он бойко вычертил ивовым прутиком на приозёрном белом от соли песке два слова. Первое было - «сукóтина». Оно предназначалось мелкому домашнему скоту и младшей сестре.

Второе слово – «чомик». Кто Сане подсказал итальянистое произношение слова комик, до сих пор не знаю. Храм упорно смягчал колющее «к» - хитрым «ч», которым начиналось ещё одно любимое его слово чемодан. Одно время было модно говорить вместо молодой человек - молодой чемодан. Все смеялись, а Саня человека-чемодана в себе самом сохранял и опять же рисовал на песке. У Храма никогда не было игрушек, но тут он выпросил у отца старый обшарпанный чемоданишко, написал на нём с ошибкой «чилавек» и стал с чемоданом беседовать. Беседы имели отвлечённый – и как я понял позже - философский характер:

- Захлопну сейчас тебя и в озеро. Или лучше в речку.

- Не потону, – Санькиным же, но очень тоненьким голоском, которым он иногда передразнивал свою младшую сестру, отвечал чемодан, - сплаваю к туркам. Там - лафа!

- Ага. Ага. Рыбаки тебя на плаву поймают, гляди, скажут, какой сор в реке плавает, - набьют камнями – и на дно!

- Рыбаки солёную кефаль класть в меня будут, всем дадут, а ты и хвоста не увидишь!..

Позже, уже в юности я для себя определил: Саня-Храм был священно-глуп. Почему? Да потому, что он с умным видом говорил иногда невероятные глупости. И наоборот, по-дурацки высвистывая некоторые согласные, с идиотским видом произносил глубокомысленные фразы.

- Земля – как груша. Такая у неё форма.

Или:

- Подохнем – всё узнаем!

Ещё:

- Кто меня любит – тот враг мне.

Или своё любимое:

- Правда – брехня. Брехня – настоящая правда и есть!

Саня-Храм исчез так же быстро, как и появлялся. Родители его вскоре развелись, он уехал в другое место с отцом, которого тоже звали Храм, но не Санька, а Васька. Сестра-сукотина, жаловавшаяся матери, а заодно и всем другим на отца и сына, осталась жить рядом с домом моего деда, специально, чтобы дразнить всех подряд из-за высокого забора, за что её не раз и не два обещали побить.

Храм Сукотину никогда не бил. Но однажды, перед самым разъездом, около старой вишни, - где дошкольница Сукотина любила валяться, пуская пузырьки через трубочку, - он привязал на длинной верёвке бездомную собаку: лохматую и придурочную. Храм собаку от души накормил, а когда та заснула – хорошенько присыпал её соломой. Длинную тонкую верёвку он намотал себе на палец и залёг в кустах. Пришла шестилетняя Сукотина, разлеглась под вишней. Храм дёрнул за верёвку, собака чёрная рыкнула, соломой с себя стряхнула, сдуру встала на дыбы и мигом стала похожа на чёрта, каким его рисуют на картинках, сопровождающих повести Гоголя.

Сукотина вскочила и, пронзительно вереща, побежала из сада домой. Как ни странно, больше она на отца и сына матери не ябедничала. Но родителям Храма это подмогой не стало: они всё равно разъехались.

Через много лет я всё пытался найти Саню в списках живых или мёртвых, но так до сих пор и не сумел. Фамилия его необычная нигде не значилась. Я забывал о друзьях и приятелях-одноклассниках, но всё чаще вспоминал белокурого, с так и не потемневшими с возрастом волосами восьми-девятилетнего мудреца, который был умней всех нас, работал в саду и огороде, как вол и, наверное, от этой работы на трудной песчаной земле со временем загнулся. Было в нём что-то таимое внутри, почти святое, ласково справедливое и грубо-суровое, как, наверное, у первых христиан. Но скорее всего эта возможная святость, так никогда до конца и не проявилась. А может, проявилось? Просто я об этом ничего не знаю? Как бы там ни было, - воображать и наклеивать выдумки на его судьбу не хочется.

Кто владеет Крымом – владеет миром

Старик Плещеев подарил моему отцу книгу «Легенды Крыма». Плещеев удачно вывел у себя глистов и об этом рассказывал каждому встречному поперечному. За это мы, дети, 8 - 12 лет, его не любили. Правда, иногда он приносил и дарил нам интересные

книги, потрёпанные, зачитанные, но сразу хватавшие прямо за душу. И за это мы его обожали. Старик Плещеев был настройщиком, но играть на фортепиано не умел, зато немилосердно расправлялся с гармошкой. Время от времени отец говорил:

- Надо прятаться. Слышишь? Плещеев у себя на Пограничной с баяном расправляется.

Старик именно расправлялся, то есть, зверски драл меха, терзал баянную плоть, словно разрывая пополам живую орущую кошку. При этом лицо его было скорбно-возвышенным, а по временам – горделиво-обиженным. Странно было то, что песни, которые пел Плещеев, были совсем не зверские, скорее, печально-торжественные: «То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то моё, то моё сердечко стонет, как осенний лист дрожит».

Он раздирал своё сердце на полные четыре четверти, словно бы добавляя, недостающей на его взгляд некоторым русским песням размашистости и жестокой удалы.

Даря отцу «Легенды Крыма», старик Плещеев книгу эту умеренно-скоро похвалил. При этом посоветовал отцу обратить особое внимание на последнюю страницу «Легенд». Пока отец ставил книгу в наш румынский, широкий и удобный книжный шкаф, старик Плещеев, глядя мне прямо в глаза, одними губами прошептал: «Лайдак. Но работать будешь!»

Никаким лайдаком я не был, просто не любил подобно отцу и Плещееву пилить двуручной пилой суковатые дрова в плещеевском садике, что они ради удовольствия и, наверное, вспоминая своё детство иногда и проделывали.

Отцу всегда было некогда, и поэтому на последнюю страницу книги обратил внимание я. Там синим «химическим» карандашом было коряво, но с красивыми завитушками выписано:

«Кто владеет Крымом – совладеет с Римом».

Позже, будучи студентом, я эту надпись чуть подправил. Теперь мне даже кажется, что старик Плещеев на это и рассчитывал.

«Кто владеет Крымом - владеет миром».

Так написал я на последней странице, не вкладывая тогда в это понятие ни малейшего геополитического смысла, а просто радуясь красоте звучания.

А тогда случайная встреча с Плещеевым, и его беглые и, казалось, ко мне мало относящиеся слова заставили мои глазные яблоки повернуться вокруг своей оси, возвратиться на место и увидеть то, на что прежде не обращал я никакого внимания.

Первое, что было подмечено мною после резкого кругового (так мне почудилось) движения глазных яблок, было вот что.

Оказывается – за словом, позади него или чуть сбоку всегда стоит образ. Образ этот закреплён за словом и если меняется, то не слишком сильно. Фашист – каска, усики кривая ухмылка. Бандит – золотая фикса, руки в карманах, кепка на глазах. Лошади – пар из ноздрей, ласковое ржание, раздувающиеся после бега тёмные бока...

И это было не всё! Оказалось, слова имеют разный удельный вес. В пятом классе я даже составил таблицу удельного веса некоторых слов. Я составил её в граммах и миллиграммах. Так было удобнее и привычнее. Я закрывал глаза, клал слово на ладонь, подбрасывал его и ловил. Искомый вес обозначался сразу: как на торговых весах с длинной, красной, нервно вздрагивающей от любви или от отвращения ко всему происходящему стрелкой. Чтобы прояснить и утвердить вес слова, я сравнивал его с весом реальных предметов. И – удивительное дело! Некоторые слова, которые казались важными, грозными, всеобязательными – весили мало. А другие, наоборот, – выходили за определённый мною предел, который составлял ровно 100 грамм.

Так слово «правда», оказалось, весило все 150 грамм.

Слово «царь» – ровно 100.

Слово блесна – всего 20 грамм.

Кукуруза – вообще 5.

Горох - чуть побольше – 15.

Я даже испугался. Но поскольку таблицу словесного веса никто кроме меня не видел, продолжал взвешивать слова, а затем имена и даже фамилии.

Самым тяжёлым оказалось имя Иван. Все 300 грамм!

Самым лёгким – имя Надежда. Всего 1 грамм.

Взвешенные фамилии я не записывал - боялся взбучки. Хотя мне очень хотелось взвесить фамилии руководителей нашего города, директора школы и директоров всех продовольственных магазинов. Я сопел, но сдерживался, потому что уже наученный горьким опытом, боялся получить слишком уж небольшие цифровые значения. А это было бы прискорбно и даже отвратительно.

Кроме того, я не мог отделаться от тревожного чувства: чем большим был удельный вес слова, тем сильнее, каким-то прочным захлестом оно притягивало к себе моё будущее. И наоборот.

Закрыв глаза, я взвесил слово скрипка. И был сражён наповал. Всего 24 грамма!

Тогда я решил взвесить слово «школа». Вышло целых 150 грамм. Я отказывался себе верить. Думал, может, это просто случайные цифры и всё будет по-другому, если я взвешу слова поостроже, понаучней.

Установив более строгий контроль над воображением, я взвесил названные слова ещё раз. Всё то же самое!

Тогда обозлившись и сжав веки так, что чуть не покатались слёзы, я взвесил слово послушание. Внутренние весы – точь в точь такие, как в гастрономе на Торговой улице – показали всего 6 грамм.

Я задумался. Весовщик, конечно, из меня был аховый. Но ведь магазин слов всё равно что-то да значил и заставлял меня задумываться о недетских вещах.

Решив взвесить отдельно слово «Легенды» и отдельно «Крым» я получил соответственно: 40 и 250 грамм. Поняв, что книга, подаренная отцу, и впрямь заслуживает внимания, я стал её читать...

Я и теперь иногда вынимаю эту книгу 1958 года издания и читаю надпись на последней странице.

Борьба - тайная и явная - за Крым предстоит нешуточная, и нужно чувствовать, что кроме геополитики, людских судеб, выгод, моря и неповторимого вина «Красный камень», выделяемого в дубовых бочках из винограда произрастающего на известняковой скале красноватого оттенка, – полуостров имеет над русскими и над другими людьми таинственную власть, заставляющую присоединять к нему мысли, приращивать окрестные земли, приписывать изменения судеб и спиралей развития.

Мыслями Крым связан с материком и никогда – даже если отделить его от материка широким каналом, - островом не будет. Более того: Крым через перекопский перешеек как раз и напитывает материк своей неведомой энергией, копящейся в розовой соли и в струях эфирного ветра, притягиваемых крымскими горами и пещерами, где до сих пор проживают маленькие захиревшие от времени киклопы, в диких лагунах выныривают из воды мудрые драконы, а в степях и могильниках, разбросанных севернее Перекопа вздымают руки-плавники невиданные существа, - до которых современным русалкам далеко, как до Луны, - напоминающие людей-рыб из древнегреческих мифов...

Слово улетело, вес истаял, но образы – остались. Тут они, тут! Притронься к строчкам карандашом – сразу начнут шевелиться.

Territopsis nutrialia

Гаппрхс-с!

Треснуло, грохнуло, оборвалось. Потом разлопнувшись в ушах, заговорило о чём-то непонятном. Это сразу же после звонка с третьего урока включилось школьное радио. Радио о чём-то громко объявило и, словно захлебнувшись праведным гневом, смолкло.

Занятые добыванием едких смешинок из обыденных школьных ситуаций – ученики третьего класса не сразу поняли, в чем дело.

Я учился тогда в школе №14 звонко-прекрасного города Херсона. Школа стояла на горе, на Привозе. За её забором высился громадный Святодуховский собор. В те дни его как раз то закрывали, то открывали вновь...

Иногда говорят: «он впадает в детство». «Они вернулись к детским воспоминаниям». Но чаще всего от нас ускользает: к чему именно в нашем детстве мы возвращаемся? К чему - в этом великом и славном отрезке жизни - вновь и вновь стремимся? К запретному? К таинственному? К чрезмерному?

Мне кажется: не всё так просто. Да, именно в детстве мы и наивны и простосердечны, склонны к волшебству и несусветным преувеличениям. Но главное: мы ближе всего к таинственной полосе бессмертия, которое всегда существует или до или после нас. И только в детстве это слабо чуемое бессмертие, спокойно улыбаясь, прямо-таки стоит у нас в головах! Или прячется за спиной. Или дребезжит звоночками, лопается майскими шарами. Словом, пожив и постранствовав, пообманывав себя и других, мы действительно впадаем в детство, как нежданно и нечуемо впадают в океан бессмертия...

Радио треснуло ещё раз, и теперь, даже те, кто ничего не понимал, почувствовали что-то новенькое, выскочили в коридор, стали визжать и «бурюкаться».

Я вышел последним. Радио продолжало громко, но неразборчиво бубнить. Педагогов в коридоре почему-то не было ни одного. Соученики дико радовались неожиданной свободе. Только в углу, у подоконника, радости наперекор плакала вялая и худая, но очень добрая одноклассница Оля. Я дёрнул её за локон: «Чего ревьёшь»? Она ответила: «Все орут. Страшно... Учителя попрятались. Вдруг, война?...»

Сообщение о войне меня не испугало. Мы, третьеклассники, твёрдо знали: новая ядерная война будет короткой и решительной: трах-тарарах – дым, радиация... Все заворачиваются в белые простыни и медленно ползут на кладбище в село Камышаны. В общем, ни от кого даже мокрого места не останется. Так чего тогда и бояться войны?

Крик в школе не умолкал. Радио стало говорить ясней. Но я сбитый с толку словами о войне – его не слушал. Наконец, ухватив мёртвой хваткой одного из приятелей, Леню А., я потребовал объяснений.

- Ты чё, дурак? – скривился презрительно Лёня, - генерал-майор Гагарин полетел сегодня в космос! – подумал он и добавил, - теперь Гагарин там будет летать всегда.

- Зачем это он будет летать всегда? – не понял я.

- Ну, ты совсем. Затмения легулировать будет! Пусть чаще случаются!

Совсем недавно ученики нашей школы радостно отпраздновали небывалое природное явление: солнечное затмение. Затмение принесло с собой много интересного: копченые стекла, темные очки, разрешение во время темноты не готовить уроки. Само затмение было коротким, но впечатляющим. Оно продолжалось минут пятнадцать: стало густо темнеть, в 10 утра наступил вечер, кричали ишаки у рынка, ударил годами молчавший церковный колокол. Затмение кончилось быстро, но сильно воодушевило учеников нашей школы. Оказалось: не всё в жизни – осмотр ногтей и торжественная «линейка»!

Наконец в радиорубке справились с помехами, и мы услышали: «Говорит Москва... Лётчик-космонавт майор Гагарин... вывел на орбиту первый пилотируемый корабль... Полет успешно завершён...»

Бурная радость учащихся всех возрастов переросла в срыв занятий. Учителя никак не могли развести нас по классам. Дело решила пионервожатая Сима. Выступив вперёд, она звенящим от гнева голосом крикнула:

- Кто не прекратит безобразничать, того не запишут!... - в коридорах стало чуть тише, - ...не запишут в Школу космонавтов! Да, с завтрашнего дня у нас, на базе бывшей Авиашколы, такое учебное заведение откроется!

Кому другому мы бы ни в жизнь не поверили. Но Симе поверили сразу. Дело было в том, что неделю назад Сима делала общешкольный доклад. Звонко стуча указкой по наглядным пособиям, она показывала фотографии и возмущалась чьим-то бездушием. Оказалось: в 1936 году в Херсоне была открыта Школа авиаторов. Состоялось два выпуска, а потом Школу закрыли. Эту Школу успела окончить Симиная мама. Тогда же, неделю назад, Сима предложила написать письмо в Киев и в Москву с просьбой снова открыть Авиашколу. Поэтому ее заявление про Школу космонавтов было воспринято всерьез. Галдеж сник, все пошли готовиться к вступлению в эту новую Школу.

Подготовка продолжилась после уроков, на улицах.

В городе уже цвели яблони, скоро должны были появиться маленькие, удивительно кислые, с мягкими молочными косточками, абрикосы. Слоняясь по городу, мы видели: он преобразился! Космический полет вызвал непонятную радость и какое-то странное возбуждение у взрослых. Весь день слышалась чуть преждевременная в апреле первомайская музыка. Летали красные и синие воздушные шары, которых в другое время было днём с огнём не сыскать. Слышались даже разговоры о возврате старых денег (их

как раз меняли на новые). Воодушевление взрослых по временам выливалось в слабо оттрепетированное: «Ура!»

Военные патрули и милиция наблюдали за народным счастьем, туманно улыбаясь. Из-за кинотеатра «Коминтерн» торжественно выступила сумасшедшая Сюся. С синим флагом в руках и в калошах на босу ногу, она пошла вниз, к реке.

На груди у Сюси пылал громадный крест. «Князь Гагарин вернулся!» - вскрикивала по временам Сюся.

Треснуло небо. Князь Гагарин выглянул из-за облака. Потом всё рассыпалось и скрылось. Сюсю, Христом Богом, а также от имени народной милиции, попросили убраться, и она послушно ушла, отдав флаг военному, а тяжко сверкающий крест милиционеру.

Вечером в Центральном парке, недалеко от бывшего памятника Сталину, на плечи которого три-четыре года назад ловко приварили голову Ленина, возле столетнего дуба калужский гармонист Фома Игоревич Пиль, неясно какими ветрами занесённый в Херсон, рванул меха и, косясь на скамеечку с бронзовым вождём, выдал свежую частушку:

*Если мы летаем в космос
То, скажи на милость,
Отчего со мной сегодня
Вот что приключилось.*

*По Суворовской я шел,
А моя соседка,
Говорит: «Пойдем ко мне,
Слетаем в космос, детка...»*

Никто Фоме Игоревичу не подтянул. Но здесь опять вперёд выступила безгубая Сюся и затянула что-то вроде молитвы: *«Владыко, рабов Твоих сих моления теплыя приемля, благослови путь их и воздушное шествие, запрещая бурям же и ветром противным, и лодию воздушную целу и невредиму соблюдая. Спасительное и небурное по воздуху провождение им даруя и благое намерение совершившим им весело во здравии возвратиться изволь».*

Сюсю никто не прерывал, некоторые даже к словам её прислушались, а старичок Маслёнкин поднял палец вверх и срочно куда-то побежал. Наверное, Сюсины слова заносить в ученическую тетрадку...

День и вечер прошли в подготовке к открытию Школы космонавтов. Никаких сомнений в том, что новое учебное заведение будет находиться именно в школе №14, не было. Поэтому, на следующее утро, подойдя к школе и не увидев вывески, мы пригорюнились и затосковали.

Чтобы разогнать тоску, Лёня А. сообщил:

- Теперь затмения будут часто. А природоведение отменят!
- Ты уже говорил, что Гагарин – генерал! – крикнул Владик Н. и дал Лёне по уху.
- Да, - подтвердил я, - ты говорил, что он генерал. А он - майор. И ему только 27 лет!

- Вы дураки, - сказал Лёня, - просто идиоты. Гагарин уже сейчас генерал и всегда будет генералом!.. Он скоро приедет - и вы сами увидите!

Лёня сказал это так уверенно, что я даже обернулся.

По Херсону шел генерал Гагарин. Шел он как памятник князю Потёмкину-Таврическому: неотступно, но осторожно. Время от времени молодой генерал быстро наклонялся и сбивал с красных лампасов первых весенних насекомых: жуков и жужелиц, которые проснулись раньше времени от апрельского шума и космического свиста. Но потом выправлял грудь и шагал по улице ещё тяжелей, ещё осторожней.

Гагарин шел по улице, а вот памятника Потёмкину на своём месте уже тридцать лет как не было. Правда, рассказывали о нём часто.

Родители с придыханием. Педагоги со свистом и назидательно.

И только школьный столяр, обрусевший этруск дядя Струтто иногда говорил про памятник сумрачно и даже ядовито: «Хóдить он тут и хóдить. Колобродить, значится... Его немцы увезли, а он всё ходить. А чего ходи́ть? Чего зря медными ногами грязь месить? Чего ему, князю, в советском Херсони выискивать?»

- Где ходит? – с дрожью в голосе переспрашивал я дядю Струтто.

- А где надо, там и ходить. От, например, по ночам во дворе музея палками шарудит. А потом идёт на Сухарное, на Военку. И давай в складах хвостатую сволочь гонять...

Я разлепил веки.

Ни генерала Гагарина, ни князя Потёмкина-Таврического, рядом не было. Кричали весело и пели осипшими от весеннего воздуха голосами, швырялись учебниками и плевали через трубочки хорошо смоченными шариками промокашек школьные мои приятели: Владик Н., Миша Т., Вова Д. Гриша Н., Серёжа П. Да ещё вдали плакала навзрыд, оставленная докторами как безнадёжная идиотка на скамейке, ширококоротая Сюся.

- Ой, князь, ой, князь, - причитала она, - где ж ты летал вчерась?

Но Сюсю никто не слушал. Обсуждался вопрос: завернёт ли Гагарин, когда станет генералом в новую школу космонавтов или нет?

Генералом Юрий Гагарин, как известно, не стал. Но всеобщим любимцем стал на следующий же день после смелого полёта. Сразу и навсегда.

Он не был похож на комсомольцев с плакатов, на бравых военных из кинофильмов, и поэтому оказался сильнее коммунизма, важнее Совнархозов, кукурузы и всех дальнейших издевательств над природой и здравым смыслом. Позже мы узнали, как Гагарин описывал космос во время полёта. Ничего лучше этих скупых прозаических изображений космоса я до сих пор не знаю:

«Вижу горизонт. Горизонт Земли выплывает. Земную поверхность вижу в иллюминатор. Небо черное, по краю горизонта голубой ореол, который темнеет, по удалению от Земли... Теперь вижу и звёзды. В правый иллюминатор – наблюдаю звёздочку! Ушла звёздочка, уходит, уходит...»

Юрий Гагарин ушел от нас тоже, как та звездочка. Но звук его голоса, его улыбка, которая примиряла и примиряет с тяготами жизни и несправедливостью – остались.

В то утро мы об этой гагаринской улыбке ещё ничего не знали. Зато теперь она часть природы. Потому что её нельзя отнять или украсть ни у кого из нас. Ни у русских, ни у американцев, ни у украинцев, ни у доверчивых херсонских школьников образца 1961 года, с их бесконечным терпением и великим непослушанием, с их плевками и ругательствами, а также с душевной чистотой, какой теперь поискать!

Вместе с Гагариным ушла странно приятная и неповторимая атмосфера начала 60-х. За атмосферой исчезла юность, за юностью, зрелость.

И только детство, возвращается и возвращается опять! И этим оно похоже на странное существо: на медузу под названием *territopsis nutrialia*. Эта бессмертное существо, эта видевшая в гробу дарвиновскую эволюцию медуза, научилось, дойдя до определённого возраста, возвращаться назад, к детскому состоянию. Дойдёт до раннего детства и снова рванёт вперёд! Доживёт до старости и снова возвращается назад к детству.

Если бы мы стали подобны этой медузе, то дожив до определённого возраста, смело и беспрепятственно возвращались бы к биологическому детству.

Но пока мы лишь мысленно слегка обновляем себя, прикоснувшись к бессмертной детской безбоязненности! Именно его, это безбоязненное и летучее детство, вместе с Гагариным и абрикосами, вместе с туповато-звонкими пионервожатыми и умным итальянцем этрусского происхождения, работавшего то столяром, то дворником, вместе с казачьими днепровскими стругами и памятником Григорию Потёмкину у нас, – никогда не украсть! Детство с Гагариным это совсем другое детство. Его вот так запросто не сменяешь на новомодные теории, да и попросту не забудешь!

А вот Сюсю забыли все, кроме меня. Она, конечно, не стала важнее и притягательнее Гагарина. Но её ликующая странность, её ласковое безумие, сильно аукнулись с открывшимися нам в начале 80-х мыслечувствами Николая Фёдорова, как тогда говорили – безумно припадочными. Так, может, и сошедшая с ума на почве монархизма ширококоротая Сюся в чём-то права? Может, она права, хотя бы тем, что заронила в детские головы запрещённые когда-то слова: *«Благослови путь их и воздушное шествие, запрещаая бурям же и ветром противным, и лодию воздушную целу и невредиму соблюдая. Спасительное и небурное по воздуху провождение им даруя...»*

Небурного и спасительного шествия по облакам и яминам жизни и всем нам!

Девушка-минутка

*Он имел одно виденье,
Непостижное уму...*

Завораживающие и подолгу не отпускающие слова. Они о бессознательных промельках, которые мощно направляют наши устремления и действия.

Один такой быстрый промельк – Галя С. Я с ней и двух слов за всё время не сказал, и лишь однажды поймал на себе её быстрый приязненный взгляд. Однако в память мою, в отличие от многих соучеников и соучениц, вошла она неустраимо. Сперва я думал, это случилось потому, что Галя С. очень рано умерла. Как сказала, поправляя на своей вертлявой шее огромный детский бант, одна из самых передовых и самых безмозглых наших преподавательниц:

- Взять и умереть прямо на третьем курсе училища. Это же просто ни в какие ворота не лезет!

Галя С. бывала в училище редко, всё порхала, как рассказывали, по вечеринкам и концертам. Она и точно была девушка-минутка: лукаво-стеснительная, многообещающая, очень быстрая и при этом непередаваемо мягкая в движениях. Потаённая мысль: я красивая, а значит ничего в мире мне не страшно – читалась на её лице не то что бы явно, но вполне заметно.

У неё был парень. Я искренне за них радовался. Но и завидовал. Правда, не парню, а Гале С. Мне иногда представлялась её будущая счастливая жизнь, и у меня обрывалось сердце от смелости и необычности полёта этой жизни: словно кинули в кого-то дружески яблоком, а оно летит, летит и не падает, летит, год, летит два...

Галя умерла неожиданно. В это сперва никто не хотел верить. Но поверить пришлось. На похороны я не пошёл, да меня туда и не звали. Некоторые наши ходили, чтобы увидеть Галю в гробу. И потом рассказывали, про венок, который ей зачем-то вплели в пышные тёмно-каштановые волосы.

Венка этого я не видел и потому девушку-минутку, ко мне не имевшую прямого отношения, всегда вспоминал без него. Вспоминая - потиху помалу начинал чувствовать: память имеет силу воскресительную! Она может восстанавливать тела и души тех, кого с нами нет, но кто по каким-то причинам с нами обязан быть! Часто и подолгу вспоминая Галю С., я понял, что привязался к образу её, может как раз затем, чтобы явственно ощутить: любовь к жизни нужно беречь, и даже нужно её прятать! Иначе она обязательно исчезнет, растворится в пустяках или погибнет под гусеницами колхозного трактора, как погибла ещё одна моя знакомая: восторженная, жизнелюбивая...

Не уходит и мысль другая: наша обыденная жизнь вообще не терпит красоты, которая содержится в каждом движении любви! Красота, загляденье, велелепие, взрачность... Стоит лишь им проступить на листах бытия, проявиться на экранах и фотоплёнках – как тут же, раз-два-три - и нет загляденья, нет взрачности, а вместо них тяжкая зевота и неодолимая тяга к безобразному.

Получается: обыденная жизнь против Бога? Ну, если даже не против него самого, так ведь точно – против Его замысла!

Я долго корил всех, кого только можно за то, что Галя С., её смугло-молочная красота, её ненарочитая мягкость - исчезли навсегда. Может, от чувства невосполнимости, от змеиного звука всепожирающего забвения, от ощущения тупой преходящести бытия я и стал с обострённым вниманием относиться к мелким деталям, к пустякам, к случайностям, к абсурдным и нелогичным знакам, особенно, если они были связаны с чем-то таинственно-прекрасным. И такое внимание несколько раз по-настоящему выручило меня из нескольких тяжких жизненных передрыг. К примеру, однажды в

юности, поднырнув под дно широченной стоявшей на якоре баржи, внезапно потерял ориентировку. Тык - вправо, тык - влево. Пробую спиной, пробую затылком. Дно, дно дно! Склизкое, железное, в ракушках, тяжкое, непреодолимое... Уже понимая, что не выплыву, вдруг заметил: с правой стороны свету чуть больше, он желтей, зеленей. Сам не зная как, повернул туда, и уже не пытаюсь уберечь от разрыва и дикого захлёба горло и лёгкие, случайно вытолкнул себя на поверхность.

Были и другие случайности, неизбежность которых до сих пор примиряет и даже роднит с чужеватой и неловкой моей жизнью...

Незабвение, или Алетейя

Люди-мгновения. Люди-промельки. Люди-случайности...

Не откидывайте от себя случайных людей, как это сделал я, когда, ко мне подошёл на улице мой троюродный дядя, сочинитель комических пародий на современных правителей, классный шталмейстер и горький пьяница, приехавший на несколько дней из Мурманска повидать родных.

На Итальянской улице, которой я медленно и со вкусом в тот осенний день любовался, он стал говорить мне что-то пьяненькое и невозможное: про обитающую в плавнях Днепра громадную рыбу, с единственным глазом-перископом, выдвигающимся на пятнадцать сантиметров вверх и зорко озирающим весь подводный и надводный мир. Рыба эта, по его словам, ещё и указывала на места будущих крушений.

- За Белогрудовским островом несколько дней назад мелькнула! Веришь? Про рыбу эту с рубиновым перископом ещё у древних греков говорилось! Веришь? Ну, Ну? - спрашивал он меня, умоляя.

Резко отрицательно мотнув головой, вырвал я руку и пошёл вниз по Итальянской улице, изучать прогноз погоды на завтра и послезатра, всегда вывешивавшийся в витрине одного из магазинов. Я шёл и сам собой любовался: в первую очередь, быстрой походкой и полами нового плаща при ходьбе чуть развевающимися...

Шталмейстер и пародист действительности дядя Миша, впервые прочитавший мне современную эпиграмму: «Кому на Руси жить хорошо?», умер ровно через три дня. А на изгибе великой реки, у Белогрудовского острова, на который указала рыба с перископом, ровно через месяц произошла страшная авария: затонул теплоход.

И вот теперь я помню не тех его родственников, которых я любил, с которыми пил вино, закусывая его нежнейшей дырчатой брынзой, - а именно Михаила Васильевича Щ.,

лицом как две капли воды похожего на писателя Булгакова, про которого ни я, ни дядя в те годы и слыхом не слыхали. Я вспоминаю его не плаксиво, не с нюнями, а вполне сурово, иногда и с лёгким саркастическим смехом, стараясь прочесть в его интонациях эпиграмму про то, кому на Руси жить хорошо: «Буфетчице Нюрке, Гагарину Юрке, - повторяю я дядь Мишиным голосом, - Герману Титову, Никите Хрущёву, Леониду Брежневу, а остальным всем по-прежнему». И вот когда я его так предметно и подробно вспоминаю - мне кажется: плоть дядь Мишиной души, где-нибудь да обретающаяся, хоть на миг наполняется радостью и спокойствием.

Незабвение – лучше слабосильного сострадания. Сострадаю часто лицемерно, - не сознавая чему и зачем. И тут же сострадание выкашливают, как мокроту. Это как с покаянием. Не нужно строить хитрый и даже, как иногда кажется, дьявольский расчёт на отстранённо-торопливом и равнодушном покаянии. Нужно удерживать себя от зла сейчас, здесь, тут!

А вот незабвение – если оно приходит – захватывает вас медленно и навсегда.

Незабвение или алетейя – это длящееся и длящееся состояние несокрытия того, что когда-то происходило вокруг нас. Состояние мягко, но властно толкающее нас к тому, чтобы сделать уже несуществующее - опять существующим, а неочевидное - очевидным.

Незабвение лучше и справедливей истины! Но при этом, незабвение - тяжелейшая, хоть и усладительная работа.

Но ведь для такой работы мы, пишущие, наверное, и существуем. Так? Нет?

РОГАТЫЙ ЗАЯЦ И ЗВУК ЖИЗНИ

Рассказ

Дед мой, Иван Епифанович С., внук екатерининского полковника, казак и бригадир, звал меня в детстве Борис Годунов. Годунов был царь, и прозвище это мне не нравилось.

У деда и бабушки я лечился домашней колбасой и отдыхал после трудностей большого города, перед тем как поступить в первый класс. Так во всяком разе дед и бабушка говорили между собой.

Жили они тоже в городе, но в маленьком, почти игрушечном, с огромной курортной трубой и ласковым солёным озером на окраине. Звался городок - Голый Перевоз. Одних такое название сместило, других смущало, а некоторые, услышав его,

почему-то радостно потирали руки, словно им предлагали съесть целую корзину прозрачного белого винограда под названием «дамский пальчик». Когда-то рядом с Голым Перевозом не было ни дома, ни куреня, не росло ни одного дерева. Только кусты и колючки. Потому Голым Перевозом и прозвали. Но это было давно. А нынешние взрослые придавали этому названию какое-то другое значение, которое возбуждало сильный интерес, но было непонятным.

Городок славился целебной грязью, а также историями про разных людей, в разное время сюда наезжавших. А бывали здесь – как объяснили словоохотливые старшие – всякие важные люди, вроде Соньки Золотой Ручки, Маруси Никифоровой и ленинского брата Дмитрия Ульянова. Ну и ещё братья Бурлюки, которые по мнению одних были поэтами, а по мнению других – художниками-мазилками и одноглазыми врялями.

- Бурлили, как те бурдюки с молодым вином, на что-то неизвестное намекая, подтрунивали над братьями те, кто хоть что-то знал об их существовании.

Когда я только начал лечиться домашней колбасой, дед и бабушка думали, что я снова попаду в больницу, из которой недавно, отболев токсической диспепсией выписался. Но как ни странно от домашней колбасы, копчёного окорока и густо покрытой корочкой топлёной ряженки, эта трудновыговариваемая болезнь окончательно меня покинула. При этом сырые фрукты и протёртые кабачки, которыми врачи настоятельно требовали меня потчевать, я перестал есть совсем, что и привело меня по мысли деда к полному выздоровлению.

- Перец и колбаса – и ты всегда здоров, – посмеивался дед и запивал эти два продукта питания домашним вином, выдавленным из двух сортов винограда: «Изабеллы» и «Лидии».

Дед вообще считал, что если пить домашнее вино – никакая болезнь к человеку прицепиться не может.

- Запомни это, Годунов, – часто повторял он.

Что касается «царского» прозвища, то честно сказать – постепенно я с ним смирился. Мама, преподававшая в старших классах школы сразу три языка – русский, украинский и немецкий – объяснила: по-старославянски «годувать» – значит кормить. При этих маминых словах мой дед и её отец, Иван Епифанович С. лукаво мне подмигнул: мол, что я тебе говорил?

Выпив, дед любил сказать о чем-нибудь веско и коротко. Но чаще пользовался одними только жестами. К примеру, подкручивание усов – означало решительно требование выдачи денег. Скрещённые на груди руки означали, что скоро последует зубодробительный разговор о возмнившем себя пупом земли председателе Шелепухине.

Ну, а постукивание пальцами по столу означало скорый прилив светлых воспоминаний о страшных дореволюционных временах.

Чаще всего из этих времён выезжал в одноколке, запряжённой конём по имени Орёл богатый, но не злой купец, а впоследствии помещик Афанасий Тропин, построивший для губернского города больницу, так до сих пор и звавшуюся Тропинкой. Из этой больницы я всего две недели назад и выписался.

Случалось, дед в своих рассказах украшал Тропина царскими медалями и орденами на ленточке, а заканчивал очень коротким сообщением о ежегодных и страшно дорогих помещичьих подарках – об одноколке, о сверкающей конской сбруе – предназначенных только деду и больше никому. Эти короткие сообщения вызывали пересуды и кривотолки окружающих. Некоторые втихаря шептались – я сам это слышал в притворе церкви, куда ходил с бабушкой, - что дед наш сын этого самого Тропина.

На все эти слухи дед и ухом не вёл. Правда, однажды посадив меня на колени, сказал:

- Афанасий Михеевич, знал небось, чей прадед привёл свой полк сюда в Чалбасы. Тут недалеко, мы с тобой туда съездим. Там как раз твой прапрадед со своим полком и стоял.

Дед не рассказывал историй с подробностями и выводами, как это делала бабушка. Любую историю он укладывал в одно предложение. Иногда даже в два-три слова.

Однажды он сказал мне:

- Появился змей.

И всё. И никаких необходимых для такого важного события объяснений! Добавил дед только одно:

- Будет выходной, посажу тебе на арбу, а может и прямо на коня, повезу в кучугуры, может, змея там и увидим.

Кучугурами в этих новороссийских местах звались песчаные дюны. Так объяснила мама. А на своего любимого коня по имени Сокол, которого почему-то по приказу Никиташки не отобрали и не отдали в колхоз, он меня уже сажал.

Кто такой Никиташка я узнал не сразу. Сперва думал - это сосед Никита Ильич, по фамилии Новосёлов. Но оказалось, Никиташкой дед звал великий и недостижимый портрет из газеты. Портрет звался - Никита Сергеевич Хрущов, и он чем-то напоминал отцовского начальника по фамилии Свищ, с выбритой до синевы головой. Строгость портрета меня немного пугала, но лишь до тех пор, пока дед, хорошенько выпив, не спел весёлую частушку. Спел он её, конечно, не мне, а своему закадычному другу, по имени Иордан, длинному и высокому как колодезная жердь на рассохе:

*Эх, Никита, Никиташка,
Кукурузная душа,
Кукурузы в поле много,
А в амбарах — ни шиша.*

Хорошо, что этой частушки не слышала бабушка, а то бы влетело деду под первое число. Иордан же, которого дед звал по-простецки Ардан, и про которого бабушка говорила, что у него только имя божественное, сперва засмеялся, а потом как-то по-звериному рыкнул:

- Слышь, Епифаныч! Мне хату надо заново крыть, а шифера нету! Змей, что ли, его утащил этот шифер? И жрать дома нечего, все запасы семейка слопала.

На эти слова дед ответил ещё одной частушкой:

*Жжет изжога, пучит пузо, —
Стали мы скотиной:
Хлеб пекут из кукурузы,
Пополам с мякиной.*

- Ту кукурузу и скотина есть не станет. Разве что змею пару кочанчиков подкинуть? Может, подавится? — задумался дед, после того, как обиженный Иордан ушёл.

Так в наших беседах змей появился ещё раз. И поэтому во время поездки на арбе в песчаное царство — так называл я про себя дюны-кучугуры — встреча со змеем меня не очень-то и страшила. Представлял я этого змея размером раза в три больше гадюки, которую много раз видел у нас в огороде. При этом глаза змея мне почему-то воображались зелёными и квадратными.

Вдруг лошади встали. Я снова не испугался. Потому что ожидал увидеть медленно ползущего по песку гада.

Но змей мелькнул горбатой тенью меж диких маслин. Стало ясно: этот змей не ползает, а бежит на четырёх лапах. Выстрел! Змей крикнул что-то бабьим голосом на неизвестном, но явно человеческом языке. А дед отложил ружьё и подкрутил усы.

Тут вместо змея, откуда ни возьмись — чуть сгорбленный председатель Шелепухин.

С дедом они поссорились ещё во время Первой мировой. Но потом помирились. А совсем недавно опять поссорились.

Увидев Шелепухина дед, тяжеловато ступая по песку, пошёл за маслины.

- Пока Елифаныча нет, скажу тебе, малец ... - как раз бабьим голосом, который я ошибочно принял за голос змея, произнёс Шелепухин. - Пока я с тобой, ты никого не бойся. И тут, и во всей округе, и во всём Голом Перевозе! Ну, если только встретив Морану и её дочерей Корчею и Трясовицу, можешь чуть трухануть. Их, конечно, всегда опасайся. Они бабы, как бабы: но только с длинными волосами, заточенными когтями и собачьими хвостами. А Морана – ещё и с острым серпом. Корчея - с пучком живых шевелящихся воловьих жил. А Трясовица - с бормашиной зубной! Языки у них – ещё длиннее, чем у наших колхозных баб. По ночам у Корчеи и Трясовицы острые костяные крылышки прорезаются с натянутой на них парусиной, и летают эти собачьи души низко над полями и лугами, рогатого зайца ищут.

- Какого такого рогатого? – встрепенулся я.

- А такого: как-нибудь сам увидишь! Или я тебе его покажу.

Вполуха я слышал: уже вернулся дед, вполуха слышал, как за рассказы про Морану и Живу дал он Шелепухину подзатыльник. Вполуха - потому что всё это время всматривался в пески.

Но ни Корчеи с Трясовицей, ни Мораны, ни рогатого зайца там не было.

Зато на колхозной пасеке, куда мы втроём заехали, возвращаясь из похода за змеем, подбежали к нам сразу три собаки. Пока Шелепухин с дедом пили вино, а меня угощали виноградным сусликом – собаки всё время вертелись рядом, ласково порывивая. Наверное, сторожили нас от змея.

- Морана, Трястя, Корочка! Вот вам кость! – крикнул вдруг Шелепухин.

Услышав эти имена, я мигом соскочил с арбы и кинулся, куда глаза глядят. Какая-то из собак - Трястя или Корочка, точно не знаю - схватила меня за штанину и мигом вырвала кусок ткани. Нагнувшись, я схватил палку. Собаки отстали. А, может, их просто позвал назад Шелепухин.

Когда я возвратился – собаки сидели смирно, поджав хвосты. Дед налил мне ещё полезного, как сказал он, для детей суслика. Они с Шелепухиным поговорили про судьбу и долю. Собаки смутно дышали рядом. Я так и сидел с закрытыми глазами: вдруг у собак и правда женские волосы и костяные крылья?

Приоткрыв один глаз, ничего такого я не увидел. Однако увидел нечто более неприятное: вдали, в песках показался молодой милиционер Перёпичка. Жил он недалеко от нас, был, как говорила бабушка, «ехидный и прогибистый», и часто гонял наших гусей, с пеной у рта доказывая, что они специально гогочут под его окнами.

Я лёг на дно арбы, потому что здороваться с Перепичкой не хотел: тот был такой же, как и его отец, получивший за службу в немецкой полиции 25 лет каторги и пропавший навсегда в далёких каргопольских местах.

Тут неожиданно раздалась песня. Показалось: пел сам песок! С шелестом, со свистом, шепеляво, но приятно и нежно.

Пел, конечно, не песок, пела дедова знакомая по прозвищу Джёска.

Тут я заснул и проснулся уже дома, ближе к вечеру. Оказывается, дед привёз меня, а сам сразу куда-то уехал. И не на работу! А Бог знает, куда и зачем, - произнесла на мотив народной песни «Так будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дома, до хаты...» обиженная бабушка.

Деда не было дома два дня. Всё это время бабушка песен не пела. Она вообще почти никогда не пела их. Зато ежедневно, по нескольку часов, когда управлялась с работами по дому и саду, рассказывала разные истории из дореволюционного прошлого. Она даже и песни, иногда, не пела, а пересказывала. Это было даже интересно, услышать знакомую песню в бабушкином пересказе.

«За свит встали козаченьки, в похід с полуночі. Заплакала Марусекнька свої карі очі ... Козаченьки коней напоили и подпруги подтянули, жёнам кулак показали и, ломая плетни, выехали на дорогу, и в поход, на Краков! А полночь была, и тут как раз заплакала-заголосила Маруся Чурай. Была она наша родственница, жила в городе Полтаве, и потом её то ли невинно казнили, то ли заточили в монастырь. И та Маруся не только про казаков пела, но и нашла казачий клад и раздала его всей родне, и твоей прапрабабушке досталось. Прапрабабушка скупердяйничать не стала, дом каменный поставила и жила себе спокойно».

А ещё бабушка любила расширять и набивать доверху деталями пословицу: «Ехал грека через реку...» Греки были особой темой. Бабушка, рассказывая про них, таинственно замолкала, приходилось окончания историй выпытывать у неразговорчивой тёти Нины.

- Про сибилок боится вслух говорить наша баба, щоб талант свой не перегрызть, - говорила суровая тётя Нина, у которой муж дядя Петя погиб в войну, - тоже мне придумала: из рода сибилок она происходит! Тоже мне!

Про сивилл я узнал немного позже и узнал много интересного. Но тогда они мне были, как выражались взрослые – «до фонаря». Тогда я говорил себе так: подумаешь, сивиллы? Вот рогатый заяц – это да!

Я попросил рассказать бабушку про рогатого зайца. Она отказалась.

- Тогда – про Марусю!

- Так вот же про Марусю: когда провожала она своего Петра, то наказала ему через четыре недели домой вернуться. А он не вернулся. Может погиб, может возле тёмного леса от змеюки сгинул. И тогда пошла Маруся по свету. И куда не пойдёт – за ней песня вьётся. Как на крыльях, как дымок летучий. То ласковая песня, то резвая. Но крыльями песня её шумела, так, что волосы дыбом вставали. И змеюки в тех местах пропадали. Ты думаешь, почему змей свистит?

- Людей не любит.

- Оно, конечно, так. Не любит. А только он ещё посвистом своим слово человеческое и песню убить пытается. Побей меня Бог, если вру! И конец змеям ползучим и змеям летучим, не от яду с купоросом придёт, а от сильного слова и ладной песни. Думаешь, почему у нас много в голод пели? И в войну, и в революцию. Дураки думают – песней зло прикрывали. А не так. Змеиный посвист песней глушили. Потом этот посвист – осадком – как каменный дождь кое-где выпадал. Поэтому змеи и гадюки в тех местах, где складно поют – как Маруся Чурай – пропадали десятками, сотнями. Её за очищающие белый свет от змеюк поганных песни, даже святой хотели объявить. Но потом, видать, передумали или просто забыли. А я Марусю всегда поминаю и змея не боюсь...

И всё-таки я, наконец, услышал, как бабушка поёт.

Следующей ночью, в нашем саду, раскапывая что-то под старым тёрном, она вдруг завела песню: «Ой у гаю, при дунаю, мылый мий гуляе». Выглянула из туч почти полная луна, и я увидел: бабушка выкопала, освободила от промасленной бумаги и каких-то тряпок маленький со сверкающей рукояткой пистолет – подула на него, трижды перекрестила и опять закопала в землю. Наутро у тётки Нины, жившей вместе с бабушкой, я про пистолет тихонько спросил.

- Был такой, только потеряла его баба, ещё в гражданскую. Помещик Озеров ей на свадьбу подарил. А она возьми и потеряй... Всё марку и калибр зачем-то повторяла. Даже я со своей куриной памятью запомнила. Всё приговаривала: «Можно не стреляя – хлопца ранить. А злодея – и убить можно. «Штейр-Пипер»! «Штейр-пипер»! Стреляй не пулями – косточками вишен. Калибр – 6,35! Самый точный, самый убойный!...»

Деда уже третий день не было дома. Где он обретаётся, я не знал. Думал даже – волки в степи вместе с лошадьми его задрали. Степные волки после войны не были редкостью, и поэтому бабушка поначалу думала так же. Но потом ей приснился сон, и она всё поняла. Потому, единственный раз на моей памяти и запела.

«Плачу, плачу, ще й рыдаю мылый за тобою». А потом: «Ой роза, ты роза моя, ой ты роза бело-розовая».

Бабушка, не переставая петь, ходила по саду, а потом остановилась. По кряхтению и звуку я понял - она наклонилась и маленькой сапёрной лопаткой что-то снова в саду копает.

«Снова пистолет выкапывает! Как же я не догадался сразу!»

Бабушка, однако, возвратилась в дом с каким-то свёртком, который на вид был значительно больше дамского пистолета. Она отряхнула свёрток от земли, ниточек и сора и вынула из длинной шкатулки георгиевский крест.

- Брата моего Ивана, который во Франции жил. Теперь его нет, а крест остался.

Ещё не рассвело, когда дед, минуя бабушку, стоящую с кочергой у ворот, заехал на бричке, которая была значительно меньше и изящней арбы, в открытые ворота, разбудил меня, подвёл к возу и на весь двор крикнул:

- Смотри, Годунов! Больше такого не увидишь.

- Я знаю, что там! Выкинь сейчас же эту дрянь, старый дурак! – завопила не своим голосом бабушка.

- Иди, Годунов, не бойся.

Я подошёл.

На возу лежал маленький мёртвый рогатый заяц. Заяц был какого-то редкого зеленовато-серого цвета. Рога его торчали в стороны и были расположены над самыми ушами. Были рога желтовато-коричневыми и нежно ветвились. А в остальном – заяц, как заяц.

Тут мёртвый заяц вдруг шевельнулся, открыл глаза, и свет перевернулся у меня перед глазами.

Когда я глаза открыл – рогатого зайца уже на бричке не было.

Дед даже крякнул:

- Гляди, приткий какой. Не хочет, чтоб я его в лабораторию снёс. Лежал тут, притворялся. От пройдоха...

- Надо было привязать его!

- Ага. Его привяжешь. Еле уговорил, чтобы он на возу посидел, пока тебе показывать буду.

- Так он... он ещё и говорить умеет?

- Не. Говорить он не мастак, так попискивает. Но понимает гад всё, что ему скажешь. От мы с ним и договорились: я его до смерти убивать не буду, за это он со мной показаться тебе приедет.

- Где же его теперь найти? - чуть не заплакал я.

- Эге! Ищи-свищи. Такой заяц у нас редкий гость. Зато в Крыму, за Джанкоем, я трёх таких ещё до Первой германской войны видел.

Дед вскоре уехал на работу, а бабушка, увидав, что я никак не успокоюсь, сначала заставила меня перебирать орехи, откладывая в сторону расколотые или почерневшие, а потом, когда я от переборки слегка успокоился, сказала:

- Слава Богу, что зайчиха убежала, а то пришлось бы...

Бабушка задумалась и добавила:

- Пришлось бы её пристукнуть.

- Это был заяц, а не зайчиха. Где я теперь такого увижу?

- Нигде и не увидишь. Потому что это не заяц, а зайчиха. Валька это Рогатая!

Только никому не говори. А то деду плохо придётся.

- Почему это, - деду?

- Потому, что это не заяц, а оборотень. Зайцы рогатые когда-то были и во всей Таврической губернии, и в самом Крыму, только их быстро охотнички заезжие вывели. Это, когда я ещё замужем не была.

- Как это - оборотень?

- Потом как-нибудь расскажу. А пока - не говори никому. Дед, он молчать будет. Он вокруг этой Вальки одно время крутился, но только скоро понял, кто она такая. Дед хочет, чтоб ты у нас в школе учился. Чтоб здесь жить остался. Скучно ему, а ты вроде умным растёшь. Ему с тобой интересно. А я не хочу, чтоб ты здесь остался. Потому что тебе надо в большом городе учиться. И музыке тебя хотят учить. А у нас негде. И деда возьмём: чему он тебя научит? С конями управляться. Так через десять лет никто не будет на конях ездить. Землю всю сетью опутают, через неё в любой миг друг с другом можно будет из тархтящей коробочки соединяться. Каждый свой крохотный самолёт получит, с крылышками малыми. А коней постепенно вы все позабудете и зайцев рогатых тоже...

- Откуда ты знаешь, ба?

- Положено мне, вот и знаю.

Я задумался. Вспомнил, как дед несколько дней назад вроде между прочим говорил:

- ...так что в школу тебе лучше тут ходить. В городе в большом - что? Ни зайцев рогатых, ни русалых песен.

Я верил в школу и не верил русалкам. Хотя в маленьком городке было, конечно, что-то такое, чего не было в городе большом.

Совсем недавно, гулял я вечером за огородами и увидел какого-то старика возле огромного куста нашей бывшей калины. Бывшей она стала потому, что часть огорода у

деда с бабушкой отрезали, вместо 60 соток осталось 45, и калина вместе с чистой «копанкой» – то есть, степным колодцем - отошла колхозу.

...В тот вечер калина засветилась как огненная. Конечно, заходило солнце. Но так она никогда не пылала! Старик в длинной одежде – видно странник, они тогда ещё время от времени нам встречались - сидел под калиной, как-то странно сложив пальцы рук.

Я присмотрелся: не такой уж это был и старик. А вот, что проходящий странник был вылитый Иисус, или в крайнем случае святой, похожий на Христа, - каким он был написан на иконе в нашей маленькой деревянной церкви, притулившейся к шумному базару – это было точно. Тут же я пожалел, что невнимательно слушал Библию и Евангелие, когда их бабушка для себя самой вслух их читала.

Я подошёл поближе и от радости подпрыгнул на месте. Я прыгал как сошедший с ума Мотыка-дурень, раскидывавший в стороны руки и старавшийся повыше задрать ноги.

Он! Он! Именно тот, про кого больше всего говорили в Библии и в Евангелии, в кусте колхозной калины светился и даже пылал передо мной.

Я что-то радостное крикнул. Ещё и ещё подпрыгнул. «Такого в огороде ни у кого нет, - подумал я ни к селу, ни к городу, - и он появился без всяких просьб, сам, сам!»

- Не кричи и не прыгай. Я пришёл ненадолго. Сейчас уйду. И не болтай про меня зря. Если захочешь рассказать – потом, позже. Учись, чему сам захочешь. И не слишком-то в религиозные книги втягивайся. Тебя ждёт другая слава.

В этот момент зашло солнце, калиновый куст потемнел, меня уже искала бабушка, кричавшая: «Боря, ты где?». Я обернулся, чтобы ей ответить, но кричать в присутствии пылающего в кусте Главного Святого – эти слова внезапно сами собой пришли на ум - больше не решался.

Когда я обернулся назад, странник уже шёл от нас в сторону леса и кладбища.

Я вернулся домой и, дрожа, закутался в одеяло. Чтобы не вспоминать ежесекундно про горящий куст калины и про уходящего странника, стал я думать про школу: в какой всё-таки я хочу учиться? По всему выходило – учиться мне хотелось в большом городе. Я уже решил было сказать маме, которая раз в неделю иногда вместе с отцом, иногда одна приезжала проведать меня, что хочу учиться в городской школе. Но тут деду повезло невероятно!

У нас задержали выброшенных на парашютах шпионов. Выбросили их в безлюдной степи, где кругом – ни дома, ни куреня... Но их засекли жители и пастух Михайла. Кто-то из правления колхоза позвонил в милицию. Через некоторое время подоспели пограничники: самолёт шёл ночью над бурным осенним Чёрным морем и на низких высотах пролетел чуть вдалеке от заставы - южнее посёлка Железный Порт. Но

самолёт прожекторами всё равно засекли. Правда, сбить не смогли, а, может, как говорили взрослые – не захотели: дали выбросить шпионов.

Езды от Железного Порта до Голого Перевоза было полтора часа. Через два часа, близ бахчи, двух шпионов и задержали. Как их вели – дед видел сам. Он тогда как раз по заданию правления колхоза ездил на своей дореволюционной, но очень крепкой бричке в Крым: закупать для областного начальства розовую соль. Дедов роскошный рассказ, про поимку врагов, время от времени прерываемый словами: «Ну когда ещё такой случай у вас в большом городе случится?» - бил даже рогатого зайца. (Про странника я так никому и не рассказал).

- Теперь, что за шпионы? – попыталась обесценить дедовы слова бабушка, - вот в Первую германскую у нас и правда задержали шпиона. Так то - был шпион так шпион! Усы вразлёт как у кайзера, и каска рогатая в мешке спрятана. По-русски – ни бум-бум, по-украински тоже. Только и твердил без конца: нох айн мальт и них ферштейн!..

Уже поздней зимой, за полгода перед тем, как пойти в школу, я сам запросился домой. Виной тому была привезённая и прослушанная на дедовом патефоне восемнадцать раз подряд пластинка.

Пластинка называлась: увертюра к опере «Золотой Петушок». Композитор Н. А. Римский-Корсаков. Первый же звук трубы покорила меня навсегда. Потом пошли скрипки, их я, конечно, узнал сразу и тут же запросился домой.

Мама сказала:

- Вот какую музыку тебе нужно слушать, если хочешь учиться в музыкальной школе. У нас в Филармонии оркестры такую музыку каждый день играют.

Про каждый день я не поверил, но домой засобирался бесповоротно.

Дед просил, чтобы я остался и обещал показать русалку.

Я не хотел видеть русалок. Они обитали недалеко, под Збурьевкой, и о них упоминал тишком даже отец Дмитрий в церкви. Но всё равно русалки это, как говорила мама, был прошлый век. А музыка, во все века музыка! И в наш век – тоже.

Тогда дед пообещал свозить меня весной в Крым. Я не захотел: только домой.

Единственное, что держало ещё меня в городке Голый Перевоз – так это куст калины. Но про него нельзя было говорить ни слова. Очень не любили тогда взрослые разговоров про всё церковное. Правда даже воспоминания про горящий куст калины не могли остановить меня: я хотел домой, в большой город, украшенный большими афишами и стендами «Кадры из фильма». Хотел к сестре, родителям и концертам, где тихо льётся звук, который о жизни рассказывает даже больше чем некоторые книги!

Дед предлагал мне картинки жизни. Бабушка – жизненные истории. А мне, после патефона со скрипками и трубой, хотелось только одного: таинственного и про всё сразу говорящего – звука жизни!

Мы уезжали, не дождавшись маминых весенних каникул: ещё зимой. Чтобы я никуда не улизнул, мама везла санки, на которые упросила меня сесть, а дед, который никогда ни за кем не бегал – это я знал точно – поспешал за нами и кричал: «Останься ещё хоть на месяц!»

Постепенно дед мой - правнук екатерининского полковника и бригадир - отстал, я оглянулся и увидел: он стоит, вытирая слёзы. При его росте под два метра и весе в сто килограмм – это было странно. Я подумал, что это ветер, но ветра тогда не было.

Через пять минут по дороге встретилась нам ходившая на базар бабушка. Ни слова не спрашивая, так как по своему обыкновению знала всё наперёд, бабушка моя Олимпиада Павловна, не позволяя себе взгрустнуть, сказала:

- Езжай с Богом, Борислав! Дед у нас выдумщик. Так ты приезжай почаще. Привык он к тебе. И выдумки будет кому рассказать.

Пока бабушка говорила мама, тихонько пела. Была зима и ещё лежал снег. Но мороза никакого не было, чувствовалось: снег этот, в наших местах редкий и ненадёжный, скоро растает. Про это мама и пела, постепенно делая голос свой громче и звонче.

Такого пения я никогда ни у мамы, ни позже, у великих певцов, не слышал.

Она пела так, как будто нет за огородами кладбища, пела, забыв себя, про то, что всё приходит, а потом исчезает, но что-то всё равно остаётся. Из-за этой песни я всё-таки и уехал с мамой, хотя совсем уже было собирался соскочить с санок и бежать сломя голову к деду.

Прошло много лет. И когда у меня получается хоть на час забыть все горести и печали, и удаётся начать извлекать звук из ствола жизни, во мне произрастающего, я понимаю - звуко-смысл не подвластен ни временам, ни смерти.

Звук увлекает меня за собой и сейчас. Всё забуду, а этот звуко-смысл, вдруг всплеснувшийся в конце зимы, не забуду до Страшного Суда. И там, на этом Страшном, но не катастрофическом Суде, улыбнусь, как шестилетний малец, и скажу:

- Вот тебе, Господи, звук моей жизни. Для Тебя его сберёг, как сумел...

КОНЧИКАМИ ПАЛЬЦЕВ

Рассказ

Прикосновение – как сон. Оно - лучше сна. Прикосновение, - скрываемая от нас за общедоступной видимостью, жизнь иная. Прикоснись кончиками пальцев, и ты почувствуешь: под ними бурлит и покалывает другая, недоступная глазу вселенная. Прикоснись и почувствуешь, как слепнет дерево, горит вода, как наполняется новой жизнью прошлогодняя сухая трава. Пальцы, их кончики, – ещё один орган зрения: прямо-видящего, все-понимающего.

В раннем своём детстве, я думал: звук тоже имеет пальцы. Именно поэтому он может так нежно прикасаться к вискам, щекам. Прикосновение звуком – особое чувство. И вспоминается оно по-особому. Как стук и шелест октября, как звук падающих на землю медно-кованных кленовых листьев, как звук лопающихся – невидимых, но хорошо слышимых - проводов, соединяющих всех добрых людей...

Первое прикосновение пальцев, которое невозможно забыть – скрипка. Не фанерная, одесской мебельной фабрики, которую мне только-только купили, а настоящая, изготовленная мастером из Кремоны Пьетро Джованни Гварнери, сыном знаменитого Андреа Гварнери.

Было так. Отцу вдруг захотелось перевести меня в первый класс вновь открывшейся музыкальной школы-десятилетки. Но он опоздал. Стояла глубокая осень, и все те, с кем позже мне предстояло учиться и дружить, уже учились в первом классе этой специальной музшколы.

То, что мы опоздали, меня радовало, потому что в своём собственном первом классе я уже приобрёл двух друзей. Одним другом была девочка. Её звали Оксана М. А второго друга звали Марик Ш. Мне не хотелось их бросать и поэтому, когда маленький, страшно подвижный, часто вскидывающий голову со взбитыми и не опадающими вниз волосами директор школы цепко и даже хищно выхватил их кожаного футляра скрипку и, взяв несколько нот, попросил их повторить, - я повторил звуки кое-как, и даже намеренно фальшивя.

Слух мой уже проверяли в другой – обычной – музыкальной школе и признали его отличным, хотя и не абсолютным.

Директор школы-десятилетки посмотрел на меня внимательно и сказал: «Я возьму ещё три ноты, а ты спой, повтори их».

Я отрицательно покачал головой.

- Иван Григорьевич, - нашёлся отец, - у него недавно насморк был, уши сильно заложены.

Я согласно кивнул.

Иван Григорьевич ничего отцу не ответил, зато сыграл кусочек какой-то мелодии.

Я продолжал стоять, как тюфяк. Тогда нашёлся директор-скрипач.

- Возьми, поддержи, - сказал он, протягивая мне свою скрипку, правда, без смычка.

Человеческое тепло старинного дерева, дрожью прошло по пальцам, проникло в жилы и куда-то ещё: глубоко, остро. Головка скрипки была украшена необычным завитком, манила к себе чёрно-красной древесины и неожиданной силой звука.

Мне было шесть лет. Я держал скрипку за шейку, держал крепко, но вдруг сильная судорога свела левую руку. Закрыв глаза, я чуть не выронил скрипку. Учитель заметил, скрипку отобрал, уложил в обитый изнутри синим бархатом футляр.

Держал я скрипку всего несколько секунд. Но в эти секунды, как маленькая шкатулка, приоткрылась вся моя будущая жизнь. Точно изобразить картины той открывшейся жизни я не могу до сих пор. Они существуют во мне как некое звучащее облако, которое наплывает, пропадает и присутствует постоянно только звуком, возгласами и разговорами, с не особо острым, но всё-таки явным ритмом.

Помню ещё солнечный блеск и сияющий туман, помню как небо – с пронзительно зелёными дневными звёздами, вдруг начало спускаться – медленно, словно модель самолёта с крыльями из папиросной бумаги - на землю. И тут же поплыли сквозь меня города, которых я не видел и видеть не мог, поплыли, горы и снега, каких у нас в Новороссии, а теперешней Украине, отродясь не бывало.

- ... так, может, споёшь? – глухо донёсся голос Ивана Григорьевича.

Я отрицательно затряс головой.

- Ну, тогда приходите в начале следующего года. У нас занятия уже идут полным ходом. А тут ещё новое здание нам предлагают, так что хлопот полон рот. Давай на прощанье я тебе сыграю сам.

Иван Григорьевич сыграл небольшую, но крайне выразительную и до сих пор тайно волнующую меня мелодию: медленная вода, текущая через поля весной, зазвенела, и густая высокая трава зашевелилась в этих звуках. Мне даже показалось, что в звуке этом присутствуют широко, как стрекоза, улыбающийся Марик Ш., а с ним - и Оксана М., в белом праздничном фартуке. Я тут же пожалел, что не стал петь, а до этого сфальшивил.

Причём в голову неожиданно стукнуло: если я перейду в музыкальную школу-десятилетку, то с Оксаной и Мариком, не расстанусь, так как они будут присутствовать в звуке. Не в моём, конечно, который я уже два с половиной месяца выдавливал из скрипки изготовленной на мебельном комбинате, а из той, которую Иван Григорьевич называл, словно деревянного волшебного сверчка из итальянской сказки: «мой Гварнери»...

Я тогда не знал ещё, что сыграл он музыку Чайковского, но острота и жалобность скрипки пробили моё нутро навек!

По дороге из не принявшей меня школы, отец раз-другой крутанул меня за ухо. Я не обиделся. Было за что!

- Ничего, - сказал, подумав, отец, весной их школу переведут на улицу Комсомольскую, а мы скоро должны переехать на улицу Горького. Это совсем рядом. Тогда ты и перейдёшь в музыкальную школу-десятилетку. И не надо будет в две школы бегать: там тебе и литература с историей, и математика, и английский, и вся музыка сразу.

Весной мы действительно переехали из района Забалки на улицу Горького, в новый, только что отстроенный серый двухэтажный восьмиквартирный дом. Но в музыкальную школу десятилетку для одарённых детей я попал только через два года: то ли отец забыл про своё обещание, то ли школа не смогла меня принять сразу и навсегда...

Потом - и в детстве, и позже - прикасаясь уже к своей собственной скрипке, я пытался ощущения той мелькнувшей жизни вернуть. Вокруг сходил с ума и вопил реальный мир, который меня заставляли любить, и который я сам себя заставлял любить. Но этот реальный мир мне был не очень нужен. Потому что жизни прикосновений, от которых зажигается мир неведомый, мир полный восторгов, - в реальном мире не было. Только однажды, лет десять спустя, нечто подобное произошло вновь.

Это случилось так. Я сильно опоздал на урок, взбучка ожидалась крепкая, поэтому я решил войти в класс №9 музыкального училища, где проходили занятия по специальности, уже сразу играя. Я толкнул ногой дверь и вошёл в класс: там никого не было. Продолжая играть, я от радости, стал слегка пританцовывать, чего вообще-то себе никогда не позволял. Потом отложил смычок, снял с плеча скрипку и погладил её нежно по обечайкам.

В этот момент в класс вошёл директор училища и стал упрекать меня за пропуски занятий по многим музыкальным и общеобразовательным дисциплинам.

Высокий, длинный, сухо-прожаренный, со скрипучим, - а когда-то певческим – голосом, директор задал мне простой, но коварный вопрос, после которого любой ответ был бы истолкован как очередная дерзость, за которой могли последовать суровые наказания:

- Почему вы продолжаете пропускать занятия по общему фортепиано?

На простой вопрос был дан простой и вполне искренний ответ:

- Прикосновение – не то. Понимаете, Владимир Кузьмич? Материал клавиш не вызывает сочувствия. И вибраций нашего мира фоно не чувствует.

Директор слегка опешил, но быстро нашёлся:

- Вы что издеваетесь? Про мировые вибрации, что-то плетёте. Вас за пропуски нужно, нужно...

Мне показалось: сейчас он скажет «высечь». Но произошло неожиданное, он, вдруг понизив голос, спросил:

- А что не так с фортепиано?

«Директор Кузя», как его любовно, в два слова, звали хоровики и вокалисты, открыл крышку училищной «Лирики» и взял аккорд.

Аккорд прозвучал разрозненно и как-то вяло. Но вообще-то, с высот директорского роста его и трудно было взять.

- Мг-гда... прокашлялся Директор Кузя, - и вдруг как-то беспомощно улыбнулся.

- У меня у самого трудности с вокалом. Тоже что-то не так. Что-то надо менять.

Я хотел сказать ему, что, наверное, надо прикоснуться к вокалу прямо связками души. Но не нашёлся, как эту мысль получше выразить. Хотел ещё сказать: прикасайтесь к звуку не диафрагмой, а прямо голосовыми связками, как оголёнными проводами. Но опять промолчал. Потому что вмиг представил ответ – может, ещё более беспомощный и потому обескураживающий:

- Что же мне - горло резать? Оперироваться, что ли?

Немой этот диалог не состоялся, но он был, и был явственней диалога, произнесённого вслух!

- Ладно, - судорожно втянув в себя воздух открытым ртом, сказал Директор Кузя.

- Делайте хотя бы вид, что посещаете общее фортепиано. Возьмите, что ли подмышку сонаты Бетховена, постучитесь к педагогине, откройте с умным видом ноты, спросите у неё что-нибудь про аппликатуру.

Директор махнул рукой, осторожно прикрыл крышку «Лирики» и вышел из нашего скрипичного класса...

Сразу вслед за его уходом, чтобы перебить воспоминание о неживых прикосновениях к фортепианным клавишам, я притронулся несколько раз подушечками правой руки к подушечкам руки левой. Эффект был поразительным! Это уже в среднем возрасте я узнал, что таким образом медиумы вызывают нужные слова и движения персонажей перед началом видений. А тогда...

Прикоснувшись подушечками к подушечкам, я увидел незнакомую местность, речку, услышал характерный – с посвистыванием – шум высокого и плотного камыша, буквально ощутил плечом и ладонями человека в белой кружевной рубахе и в закатанных до колен брючатах, напоминавших старинные мужские панталоны.

«Раков ловить будет», – подумал я.

Но тут человек обернулся, и я понял: раки его интересуют мало. Сонно улыбнувшись, он винтообразно покрутил указательным пальцем близ своего виска, вопросительно на меня глянул и, не раскрывая рта, но вполне внятно спросил:

- Ну?

Не узнать человека с густыми баками и осовевшим лицом было нельзя. Это был дедушка Крылов, правда, тридцатилетнего примерно возраста. Молодой дедушка недоуменно пожал плечами, а потом, словно сиюсь сказать: я тут стараюсь, а ты, ослиная твоя голова, молчишь как пень, – развернулся и двинул прямо в реку.

Какое отношение имел дедушка Крылов к музыке, я тогда не понял: портретов несравненного баснописца, ни в школах, где я учился, ни в училище музыкальном не было.

Понял я вызванное осязательным зрением явление баснописца дурню-музыканту значительно позже, когда вдруг от тихо-помешанных пейзажных стихов – и именно благодаря Крылову – вдруг перешёл к фабульной прозе

Ещё одно поразительное прикосновение – детские щёки.

Это было какое-то наваждение. Я всегда любил детей, и, наверное, это было единственное, что я любил бескорыстно и жертвенно. Ни Бога, ни женщин я так не любил, о чём, конечно, грустно думать, но это именно так.

У нас был сосед: четырёхлетний, круглее круглого, на толстеньких качающихся ножках. Я притрагивался к его щекам – безо всяких современных фрейдистских и подобных теорий, без гнусностей и подколовых мыслей – и наслаждался их теплом и едва ощутимым трепетом! Мы с ним беседовали. Он слушал мои сказки, округлив глаза и чуть приоткрыв рот. Я его спрашивал о любимой еде и напитках. Родители его были людьми странными: отец выколол глаз, чтобы не идти в армию, мать шаталась меж двор, собирала в торбочку еду, хотя была крепкой и специальность техническую имела – была классной чертёжницей. Даже шатаясь по дворам, она часто произносила своё любимое слово «штрихпунтир», пропуская важный звук «к». Но применить этот «штрихпунтир» в жизни никак не хотела.

Сына своего она нещадно колотила. Но по лицу никогда не была: чтоб деткомиссия не приставала.

Когда этот мальчик, которого все звали не по имени, а просто, «Мякиш», сидел рядом со мной, - я чувствовал, что высшая и непознаваемая жизнь здесь, рядом! И она мудрее всех видимых мировых процессов. А когда притрагивался к его щеке, понимал: всё пройдёт, а эти детские щёки останутся. Сквозь туман, лихолетья, холеру и все вирусы на свете, защемляющие железными щипцами сердце, - щёки эти будут кем-то осязаемы и любимы, будут напоминать о том, что материя жизни неисчезновенна, и, прикоснувшись к ней, приостановив дыхание и затаив сердце, можно ощущать приток сил и высших намерений.

«Мякиш» вырос, женился, я видел его детей. Он уже умер, а прикосновение, к тёплым щекам его живее и содержательней для меня всех возможных сюжетов, которые можно было бы, используя жизнь этого мальчика, сочинить, а потом отдать на растерзание хищным критикам. Когда-то я даже написал об этих прикосновениях и более позднем их отсутствии стихи, правда, без рифм. Собственно, – полу-прозу.

«... нет детских щёк, протяжно-нежных, тёплых... Стоишь один и смотришь на туман лизнувший волчьи ямы и болотца... Стоишь на холоде и чуешь как из лунок бьёт струйкой вверх невидимая жизнь...»

Выговориться в стихотворении до конца не удалось: мешал размер, по-научному - метр. Но кое-что я, перепечатывая написанные от руки строфы, всё-таки понял:

«Если убрать жизнь прикосновений – жизнь станет кривой суковатой палкой. Ничего, кроме этих ангельских осязаний в нашей жизни для меня, не было и нет! Даже сны, говорящие о будущем лучше записных прогнозистов, даже приятные похвалы и читательские восторги... Без них проживу. Без детских щёк – нет, невозможно...»

И наконец, история решающая, история прикосновения, которое пришло из сна, но теперь существует реально, явно.

Вот как было. Днём, за два часа, перед очередным писательским собранием, которое я должен был вести, вошёл мой покойный отец. Именно вошёл, а не приснился. Умняги и секари, будут, конечно, говорить: это метафора. Только не метафора, нет!

Отец принёс с собой ручку: толстую, белую, мою же собственную, где-то давно посеянную. Диаметр - 12 миллиметров. Да и длина – сантиметров 12-15. Теперь таких не выпускают. А в середине 90-х - пожалуйста. Он принёс ручку и положил её на компьютерный столик. Я стоял молча. Отец мой умер рано, зимой 1984 года. В новой квартире моей никогда не был. Я тут же забыл, зачем он пришёл, думал только об одном: как он нашёл меня в Коломенском? Как отомкнул решётку?

Отец сказал:

- Вот твоя ручка. Возьми, пиши. Возьми, попробуй прямо сейчас, пишет она или нет?

Я попробовал. Ручка писала прекрасно. Ни к селу, ни к городу подумалось: толщина и вес ручки – как раз подходят для рельефной прозы. Я улыбнулся: новое осязание прозы – не выдумывание, не конструирование, а именно осязание - мне сразу понравилось. Я наклонился и положил ручку на компьютерный столик.

Когда я распрямился, отца в комнате уже не было, лишь тихо призывкнула решётка, отделяющая квартиру и тамбур от общего коридора.

Всё это можно было бы счесть сном, если бы после того как я сбегал ещё раз в общий коридор и вернувшись в комнату, не обнаружил, - белая, толстая ручка давно и навсегда пропавшая, так и лежит на компьютерном столике. То, что ручка после нескольких лет нашлась, и опять можно было с наслаждением водить ею по бумаге, вышибло у меня слезу, я отёр её и рассмеялся. Это была именно та, давно искавшаяся ручка. Только моя и ничья другая! Одно прикосновение к ней вызывало массу образов и движений, причём подушечка указательного пальца, которой я ручку прижимал, стала сразу умней меня. Подушечка чувствовала и видела то, что мне и присниться не могло.

К примеру, после первого же завитка выведенного на бумаге, я увидел, зарытый в Нагатинском затоне клад. Там было не золото, а оружие и документы в кожаных воловьих папках. Увидел и то, что совсем рядом с нашим домом на Бобровом острове притаился странный хорёк: со светло-коричневым пушистым как у лисы хвостом и по-человечески умными глазами. Увидел пальцами зарытые немецкие каски, а также почувствовал глубокий разлом, тянущийся от таинственного Голосова оврага под дном реки и под нашим шлюзом, до улицы Речников...

На собрание в Дом литераторов в тот день поехал другой человек. Не-я. Не-Б. Евсеев. Возможно, поехало евсеевское чучелко. И - если уж быть честным до конца – именное чучелко вело собрание, отвечало на вопросы, не давало вырвать из рук микрофон, отворачивало нос от пьяной ругани какого-то во всю глотку оравшего поэта, дышавшего не просто перегаром, а выдыхавшего всю нескончаемую муть своего спёртого ячеством сознания. Его дыхание – зеленовато-коричневое, вязкое как выдавленное нутро жирной гусеницы - я прекрасно видел, и даже чучельным своим телом слегка прикасался к нему.

Ну а я – подлинный, настоящий, сидел себе дома и писал новый рассказ. Он начинался словами:

«Жизнь в кончиках пальцев? Жизнь – кончиками пальцев? Прикосновение, как проникновение в иное бытие?»

Прикоснись – узнаешь.

ОСТРОВ КАРАНТИН

Рассказ

- Ну и чё теперь тут у нас будет?

- Видишь навес?

- Ну.

- Кабинет редкостей будет. Вход платный. Выход – тоже.

- Каких-таких редкостей?

- Ковидистых. Мы тут всю зиму всякую дрянь собирали?

- Собирали.

- А теперь весна?

- Ну, весна.

- Так тогда неси, дура, скорей, ту палку, что потерял санобработчик. Первый экспонат будет.

- А мне-то чё за всё это отвалится?

- Пук с мармеладкой.

- Тады бегу.

- Давай, давай... По диким степям Аргентины, где золото трам-та-ра-рам...

В Нагатинском Затоне, в тихо-потаённом месте, чуть наискосок от шлюза и ближе к Бобрового острову – бомж и бомжиха. Во дворе заброшенного дома, на одном из бетонных блоков - тень. Тень эту даёт костерок с трёх сторон закрытый арматурой и другими бетонными блоками. Тень пляшет на бетоне. Ковид приплясывает над Москвой. Тень ветвится, движутся чьи-то руки-ноги. Но вдруг - мелькает птица. Птица горбоносый своим профилем похожа на сокола. Сокол – символ Москвы, любимая птица царя Алексея Михайловича, чьи следы в Коломенском и вокруг него, Денис Бухметьев сейчас и разыскивал.

Понимал Бухметьев: птицу дорисовывает воображение. Но всё равно приятно было. И вообще: какая-то юношеская, неистовая, давно забытая радость, несколько раз посещала его во времена пандемии. Что-то подобное нахлынуло и сейчас.

«Роковая ошибка человека в чём? – спрашивал себя Бухметьев и отвечал, - предпочитает сглупа человек одно историческое время другому! И часто не хочет жить в своём, отведённом ему для существования времени, а стремится к другому, прошедшему или ещё не наступившему. Но ведь всякое историческое время бесценно! А особенно ценны времена тяжкие и тревожные. Они проверяют и определяют запас прочности человека и должны быть им любимы с особой силой».

И сразу ему, при пляшущем и потрескивающем костерке, на фоне смертей и страха, в неожиданном окружении бомжей – вдруг представилось чудом, что мы вообще живём, существуем и не лишены чувства любви, приязни...

Бомжи были серьёзны и преисполнены важности. Они словно к чему-то важному готовились, может, ждали кого-то. Но и к Бухметьеву, в дорогом, в светлую ёлочку пальто, странно смотревшемуся в их компании, неприязни или враждебности не проявили. Говорили они о чём-то своём и на пришедшего поглядывали лишь изредка.

- У нас будет не такой кабинет, как у этих. Ну, у которых определённое место жительства.

- А какой, Солдат?

- А такой, Рутя. Соберём самые хвастливые заявления, в которых пишут: мы, мол, в ковиде, как говно в повидле. А ещё натянем под навесом экран. Ты будешь мимо него туда-сюда на каблучках бегать. Репин кистью раскрашивать тебя станет: весна же... лето не за горами! А Костомарлов – тот какую-нибудь историю в клубок сматает, а потом разматывать станет.

Бухметьев прокашлялся. Тут все разом к нему и обернулись.

- Заходи друг! За 500 рэ покажем тебе экспонаты – мама не горюй! Вы там у себя в домах лежите законсервированные, как бычки в томате. А мы всё-таки вольные пташки.

- Йа, йа проведу, - крикнула Рутя, - йа - экскурсию с разъяснениями! Всего за двести дубовеньких!

Бухметьев, кривясь, дал двести. Рутя спрятала деньги куда-то под зелёное дырчатое пальтишко и вдруг застыла. Бухметьев недоуменно пожал плечами.

- Так будешь экскурсоводить?

- Ты назад-то оглянись, - зашептала она.

Бухметьев оглянулся и увидел разложенные на поставленном на попа ящике черно-синие пальцы.

- Кольки это, подкидыша, ему кто-то лопатой обрубил, а мы сохранили.

От трёх чёрно-синих обрубков с раздутыми подушечками и обломленными ногтями Бухметьева едва не вырвало, но он рвоту удержал.

- Щас щё предмет прес-ставлю! – тихо взвизгнула Рутя.

Бухметьев думал – обманут. Но экспонаты оказались, что надо.

Десять экспонатов – и сразу мороз по коже.

Экспонаты были разные. Рутя таскала их с увлечением и под навесом на сухих местах земли раскладывала.

Первым притащила она какой-то мешок и, вынимая оттуда образец, объявила:

- Невская маскарадная кошка. В цветах ковида!

Глиняный кошак был выкрашен в три цвета: голубой, серебристый и молочно-чёрный.

Дальше – больше.

– Мышиные крылья ковида. Прямохонько из Китая! Тут один вахлак, выходя их такси, потерял, а мы подобрали.

- Шприц американский с кривой иглой.

- Ватные ковидёнки работы директора магазина детских игрушек... А щас придётся подождать.

Рутя исчезла и через некоторое время вернулась с трёхлитровой банкой.

- Подходи ближе служивый! Голова ковидная в банке с рассолом.

Бухметьев приблизился: гипсовая голова, в неё понатыканы шприцы – 7, 8, 10 штук. Голова вызвала отвращение. Но длилась оно недолго.

- А теперь – внимание! – Рута просто захлёбывалась от счастья, - мешок с гвоздями. Подарок немецких антиковидников. У них щас такая практика: стоит мешок. Если кто заболел – родные в мешок гвоздь кидают. А мешок около ратуши стоит. И не один!

- Всё, хватит, - крикнул Солдат, у нас и кое-что похлеще есть. Да только гостюшка устал уже. Вижу, вижу. Присядем? Винца хлебнём.

- Ну что понравились образцы? – Это уже Репин - Можешь сфоткать.

Бухметьев засомневался: «Ещё смартфон отберут».

- Не взял я мобилку. Отдохнуть от звонков решил.

- А... Ну, ладно. Тогда в другой раз. Мы-то ещё зимой собирать экспонаты начали, - терпеливо объяснял Костомарлов. Я рисовал, они снега раскапывали. У нас ещё есть. Но

на первый раз тебе хватит. Как захочешь - придёшь с фотиком, покажем тебе кой-чего. А пока можешь купить историю. Свежую! За два косаря.

Бухметьев согласился на один косарь.

- Тогда вот тебе пол- истории. Я даже название придумал. Недаром ведь на истфаке учился. «Зимой в Коломенском» называется. Ну, слушай, - Костомарлов сладко зажмурился...

- Целый год я в Коломенское собирался. А попал туда только в середине зимы.

Снегу! Аж веточки пригибает. Прохожих - с горсточку. Трое нищих на газете чебурек делят. Причём нищие домашние, не бездомные. Просто деньгу зашибают. Ух-х! Ненавижу побирушек! Мы-то деньги сейчас честно зарабатываем: то ковидом, то мусор приберём, то узбекам подслужимся. А раньше ящики подносили в «Пятёрочке»...

И вот. Путь через усадьбу к берегу Москвы-реки – он не близкий. От нечего делать, стал я вспоминать историю этих мест. В голову всё какие-то обрывки лезли, типа:

“В июле 1662 года, когда царь жил в подмосковном селе Коломенском, мятежная толпа тысяч в пять подступила ко встретившему её царю... Требовали поставить на суд изменников... Царя держали за пуговицы кафтана и заставили общаться Богом, а с одним из мятежников ударить по рукам на обещание...”

Но не история мне тогда была нужна!

Незадолго перед этим в магазине на Судостроительной улице один прилипчивый алкаш в благодарность за мелочь пообещал: “Проведу тебя по Голосову оврагу. Прямо к Девьему Камню доставлю. Век меня благодарить будешь!”

Про Девий Камень слышал я и раньше. Слышал, - Камень этот светлый, и погани вокруг него никакой нет. Признаёт этот Камень и люд ученый, и люд православный. Но, главное, близ Камня - так говорят – время останавливается. Правда, людишки при этом пропадают. Стоит во время сильного тумана пройти меж Гусь-Камнем и Девьим Камнем – лет на 70 человек пропасть может!

А ещё помогал Девий Камень скрываться от преследователей, исцелял от несчастной любви, приносил удачу. Удачи-то мне как раз и не хватало!

Шли мы быстро, почти бежали. Гляжу, - провожатый мой отстал, не видно его. Дубовый, почти трехсотлетний парк, высажен в основном при Екатерине. Только и шестисотлетние дубы там попадаются. Парк потихоньку шумел. Зимний туман клоками висел меж кронами.

Без провожатого я сбился. Взял в сторону, вышел на берег Москвы-реки. Стою, смотрю на речку: слева - шлюз и затон. Справа - пойма, плавни. И вода необычная: от заката сильно порозовевшая, коварная – тихо душу рвёт.

- Случаем не Кольку-Водолаза ждёте? - тронул вдруг за рукав старикан-старикашечка со стаканом в руке и в собачьей шапке: кривоногий, горбатенький, с глазами от слёзок блещущими.

- Жду одного тут. А как зовут – забыл. Отстал он, - буркнул я недовольно.

- Кольку! Его! Как пить дать пулю Водолаз вам про Девий Камень отлил. Верно говорю? То-то жа. Только он, Водолаз, как следывает с камнем человека соединить не может. И я не могу. А показать - покажу.

От заострённой свечой церкви Вознесения взяли мы вправо.

- Здесь! Рядом... - суетился старичок в собаках.

Стало ясно – камня он побаивается. Как будто мыслью мою угадав, старичок сказал:

- Сам туда в туман - не моги ходить. Раздавит тебя Девий Камень. А то и заполонит лет на тридцать. Даже Марфа-кудя тогда не поможет...

Подошли к безлюдному краю оврага с деревянными ступеньками. Снежный туман лёг гуще.

- Дай! Соточку всего! На пол-бутылочки, а? - взмолился старичок. - Тогда дорожку сквозь туман укажу!

Ветер завернул круче, по земле поползли змеюнчики белые. Стало мне холодно. Поёжившись и сильно пожалев денег, дал я старичку в собаках полста.

- Й-йех! - даже не вскрикнул, тихо взвыл старик. - Вот он, Камень, гляди правей!

Глянул я вправо и ничего не увидел.

Тут ветер взметнул снежный гребешок, за ним другой, третий. Старичка в собаках вдруг качнуло, и поехал он на задку с обрыва вниз. А вместе со старичком целая лавина снега поползла. Снежный туман всё вокруг окончательно залепил.

И привиделась мне в тумане широкая река: чистая, до дна прозрачная. Прямо от Голосова оврага ввысь уходящая!

Плыли по той небесной реке кораблики с парусами и без, плыли и отдельные пловцы в костюмах водолазных. Ходили по небесной воде не боясь замочить ног и смирные, и лютые звери: кабаны, зайцы, волки. Ходила раньше неизвестная мне женщина по имени Марфа-кудя. Шли они все вверх и вроде не думали возвращаться. А мне страшно вдруг захотелось, чтоб вернулись!..

Тут старичок, из тумана зимнего выпутавшись, крикнул:

- Я в магазин, напрямки через овраг! А ты за мной не ходи, назад возвращайся. Весны жди! Да денъжат приноси побольше. Не для меня! Для Марфы-куди!

С весело стучащим сердцем и ботинками, полными снега, попилил я к своим, в наш светлый бомжатник. Тут, конечно, замельтешили огни реклам: лиловые, синие, голубые. Зажглась - опять-таки туманно - буква "М" над входом в метро. Вспомнил я голубоватый снежный туман над обрывом, и радость меня опять захлестнула. Как после полного стакана портвешка. Скоро, скоро пройдёт февраль с метелями, потом март с дождями, за ними грянет весна настоящая! Дождусь - думаю себе - первого весеннего тумана, и опять в Коломенское: с длинной тонкой лозой искать под землёй небесную воду. И пошёл, и начал искать...

Костомарлов неожиданно смолк.

- А дальше, дальше-то? - крикнула Рутя.

- Я ж сказал – полная история: два косаря. Половина истории – один косарь. Ещё Васькой, котёнком, могу осчастливить впридачу. Мы его тут лелеем. А только молочка ему надо...

- Ну, не хочет Костомарлов, так йа расскажу, – Рутя-Рутютю аж подпрыгнула на месте.

- Ты погоди, Рутютюкало. У нас теперь другая история на очереди: «Русские сатурналии», - гордо выговорил Костомарлов, - если, конечно, гостюшка наш готов два косаря отстегнуть.

Бухметьев вынул и без слов отдал двухтысячную бумажку: про небесную воду, имеющую исток под землёй, ему понравилось.

- Новенькая! – обрадовался Костомарлов. - Ну, тогда слушай...

- Зима в России - время забав. Так всегда было. Трескучие фейерверки, ледяные горки, льющаяся рекой водка, размазанные по щекам сопلي счастья...

При Петре Первом такие забавы приобрели размах невиданный, опасней, чем война обыкновенная жизнь стала. Что творилось! Шута в колпаке сажали голой задницей в корзину с яйцами. Скорлупа трещала, шут визжал.

С бородатого боярина сдирали одежду, а его самого кидали в чан с вином. Боярин захлёбывался, булькал... Дамы и кавалеры, изгибая нагие спины, галантно из чана пили. По улицам – на медведях. По горницам - на козлах!

Некоторых - прилюдно пытали. Не со зла! Нет! К адским мукам, помаленьку приучали. Свяжут руки за спиной, и за верёвку вверх тянут: и смешно, и поучительно!

В новой России у нас – тоже много яркого, свежего. Есть и забавы новые. Правда, размаха петровского нет. Ну, обожжёт парень своей девчонке лицо петардой, чтоб отстала от него навсегда. Ну, такие же, как мы, бомжары друг другу головы проломают, за место у костра сцепившись. Или тридцать три старика плюс одна девушка в доме престарелых сгорят заживо. Или, как в Питере, в первый день недавнего Нового года сразу сто сорок девять бездомных замёрзнет!

Власть в России всегда мучила людей. Опять же, не подумайте, что со зла! Их же любя, мучила! Но ещё сильнее люди сами себя мучили властью. Так, так! Всю жизнь мучились: хорошая власть? Плохая? Нужная, ненужная?

Оно, конечно, понятно: во времена Петра Великого мучениями, пальбой, измывательством над государственными порядками и церковными обрядами пытались сломать устои прежней заскорузлой жизни.

А теперь, видать, просто потому, что жизнь надоела! Непонятная она, сегодняшняя жизнь!

Костомарлов на минуту задумался. Солдат пошевелил костерок. Рутя встала, потом опять села. Репин куда-то исчез.

- Для многих она, ну, то есть, жизнь новая, – тьма беспросветная. И для богатеньких, и для нищелюбов. Богатые спят как на раскалённых углях: что с их богатством станет? Нищелюбы рвут на себе волосы: на какие шиши дети и внуки жить будут? И только ковидушко, как смерч внезапный, научил нас: радуйтесь минутке, радуйтесь, черти, пока вообще живы!

Здесь заворочался в почётном кресле вышедший на прогулку Бухметьев, хотел даже вклинить в разговор, но Костомарлов вдруг заторопился с рассказом, стал говорить быстрее, одышливей.

- А раз жизнь тёмная, непонятная, то пропади она пропадом! - так подумали некоторые.

Вот и стал теперь наш человек крепостью без башни. Почему и веселье сегодняшнее зовут - «безбашенным»...

Год назад, когда ещё институт наш не разогнали, пригласили меня глянуть на новую русскую забаву.

Поехал.

Сто километров к северу-востоку от Москвы. Охота на кабанов. Лес средней густоты, большая поляна. На ней - шестиметровая вышка. Четыре охотника. На снегу подкормка: кукуруза, хлебные корки, что-то ещё бугрится.

Ночь, полупьяная Луна в облаках шатается...

Часа через два из глубины чащ – огромный кабан-секач. В холке метра полтора. Длинной – никак не меньше двух с половиной. Клыки – ятаганы турецкие! Слюна с бородищи янтарными нитками свисает, горит под Луной и сверкает драгоценно!

Тут вместо стрельбы, один из охотников с вышки на верёвке ловко - вниз, вниз! И, как на лошадь, на кабана сверху садится!

Кабан - прочь. Но охотник крепко ухватил зверя за уши. Секач визжит, на бегу пытается охотника сбросить. И сбрасывает, и заносит клыки над упавшим! Тут – сразу три выстрела. Секач падает замертво.

А ведь темновато! Запросто могли охотника уколошить! Да так оно в следующий раз и получилось. Через неделю опять приехали. Всё то же самое. Только конец – другой.

Прыгнул на кабана паренёк один неудачно. Прыгнул и как-то поперёк кабана ему улечься случилось. Тот паренька в глубину лесов и умчал: только их и видели.

Нашли паренька к утру. Клыками в шести местах тело пропорото. К тому времени уже часа три, как дух испустил...

Только и смерть – не учит! Любят у нас до изнеможения, любят сильнее, чем бабу, риск неумный: сегодня проткнули насквозь тебя – завтра ты кого-нибудь. Сегодня застрелили кабана, завтра – тебя. А чего? Весело!

Бухметьев поёжился, даже про себя чертыхнулся: «До таких ли забав сейчас? Во времена Петра в ходу шутовская молитва была: Во имя всех бирюлек. То есть, во имя всего игрушечного, незначительного. А сейчас во имя чего? Во имя скуки? Во имя новой дикости?»

Костомарлов тем временем вёл и вёл своё:

- Только ведь Россия - не одичавшая страна! Россия - страна природная! То там, то здесь - вскинутые в тревоге руки защитников лесов и рек. То там, то здесь – протесты против бесчеловечности. Но их властители жизни не видят. Влага забав им взор застилает! Вот и стала жизнь наша – особенно кое-где в глубинке - сплошной опасной забавой. Вот поэтому так много по весне по первой «подснежников».

- Откуда подснежники в Москве? – удивился Бухметьев.

- «Подснежниками» полиция теперь зовёт замёрзших и засыпанных снегом.

Тихими и синенькими их откапывают. Этих людей не ищут, не проверяют по спискам. Зачем? Снег оттаёт, глядишь, «подснежники» сами на свет Божий и явятся!

А тогда и получается: если в царское время в ледяной дом сажали «шутейно», то теперь, для некоторых, вся жизнь сегодняшняя – один смертельно опасный ледяной дом! До ковида на улицах улюлюканье и смех разносились, скачки на кабанах происходили и тому подобное. А теперь - то же самое, только за закрытыми дверями в ночных клубах, да

в дачных местах, да во дворцах непроверяемых. В спёртом, так сказать пространстве. Нашим гулеванам и ковид нипочём! Так и кажется: большая часть народонаселения весь год тайно гуляет! А меньшая часть – весь год работает. Не церковные Святки и не народная масленица в начале года на двенадцать месяцев запускаются, а бесконечные российские сатурналии!

«Но ведь такие химерные праздники, такие языческие сатурналии вполне могут закончиться цепочкой бунтов и революций», - негромко, только для себя одного, произнёс Бухметьев.

Его, однако, слышали.

- А может, диковатое веселье прежних лет было просто боязнью будущих потрясений и будущего суда? Ведь и пандемия – какой ни какой, а суд Божеский!

- Кончай заливать Костомарлов! Китаёзы с америкосами гадость эту запустили!

- Тебе бы из этих историй книжку сделать. - Бухметьев встал и во второй раз за день обрадованно улыбнулся, представив бомжа в пёстрой накидке и в бабьем платке в каком-нибудь богатеньком шестнадцатизэтажном книжном издательстве.

- А что? И напишу! Верней, продиктую кому-нибудь.

- Тому, кто записывать будет, денежки платить надо. Так что сам пиши.

- Ты ж знаешь: пальцы я себе отморозил, - скривился Костомарлов и засунул руки поглубже в карманы, - и вообще – слышь какая одышка у меня? Вот вы тут ковидище хвалите, мол, просветление в мозгах это чудище сделало! А если меня ковид свалит? Тогда и вас всех заберут.

- Не бойсь. У нас мазь зверская. Через ноздри зараза никак не попадёт!

Вдруг явился откуда-то Репин.

- Сейчас, - крикнул он, маша ученической тетрадкой, - сейчас!

- Остров Карантин! – выкрикнул Репин, переодевшийся в серую до колен шерстяную блузу и беретик новенький прилепивший к уху. - Остров страсти и напасти! Слушать всем! В лето 7529-е, после зимы, а короче первой весной образовался из Нагатинского затона – Остров Карантин.

- Ты чего болтаешь? Кто тебе такое накарябал? - Рутя вскочила и затопала грозно мужскими зелёными ботинками.

- Я ж тебе, дурёха, рассказывал. Корреспондент приходил. Писать он ничего не писал, только носом поводил и сказал: «Остров бы из вашего Затона Нагатинского сделать

и Абрамовичу продать. Тот купит! А что? Остров в центре Москвы! Свой! Собственный! И вы на нём как живые экспонатишки!»

Корреспондент ушёл, а я себе подумал: чтобы нас падла какая-нибудь не купила, лучше уж мы под Южным нашим округом ходить будем. А чтобы пугануть тех, кто покупать захочет, назовём наш Нагатинский Затон - Остров Карантин. Вот про это самое я и накарябал маненько. А что? И в блогах напишем! Я Сипатого попрошу, - у него планшетник имеется, - пусть напишет: мол, в Нагатинском затоне у станции метро, параллельно трамвайным линиям, не с андроповской, а с нашей стороны - требуется срочно канал прорыть. Жители дружно просят.

- Какой ты житель? Нежить ты, - засмеялся грубо Солдат.

- Нежить, это другое, - возразил умный Костомарлов, - нежить, она в суровых подвалах обитает, не в наших.

- Ты лучше послушай, что тебе говорят! - опять раскричался Репин, - образуется Карантинный остров. Или лучше - Остров Карантин. И постепенно он не только карантинотом от болезней станет! От всякой чернухи и нескладухи, от банкирских подлянок и риэлтерских дрючек - встанет стена карантинная! Чтоб сюда ходу козлам и бандосам - ни-ни! И не суйтесь, скоробогатенькие! Дайте людям тут спокойно пожить. А ещё я про другой Карантинный остров читал. Даже маску одного чувака изготовил. Щас, покажу!

Репин снова исчез за бетонным блоком.

Бухметьев после слов про Остров Карантин - снова забеспокоился. Мысли пошли разные, и больше - непривычные:

«Не только пространство под названием «Нагатинский Затон», но и вся Земля наша всё сильнее на Остров Карантин похожа становится! Плавает Остров-Земля в мировом океане. А на острове - то умная Атлантида, то Иродово господство, то царство добра, то соединённые штаты насилия по очереди образуются. И с людьми разные разности происходят. Но ведь, как оно из островной психологии вытекает? А так. С острова всегда бежать хочется. Так-то оно так, да не совсем. Некоторым, наоборот, зацепиться за остров хочется. Зацепиться и не знать никого, ничего! А тогда получается - нищebroды на вход! Ну, то есть, за Землю какая она ни есть, именно нищebroды цепляются. А объевшиеся кавьяром и хамоном - марсианских устриц теперь желают жрать. На Луне им базы военные подавай! Ну, а нищebroды и терпилы, те, кто крохи со стола у кавьярников подбирал - они и на такой земле жить согласны. И не захотят они её до конца обдирать налысо! Не дадут хамонистам и кавьярникам, изнахратив Землю, на Венеру свалить! Нужно устраиваться здесь, где родились. Причём карантин от всякой в мозгах от всякой заразы устраивать, а не только во внешнем пространстве! Чёрт внутри

нас, а не снаружи! Там он и подстерегает каждого! А насчёт карантина... Есть карантин людей вокруг себя собирающий! А есть карантин - разобщающий! И такой разобщающий карантин выгоден лишь нескольким мировым семьям. Он-то, разобщающий, и погубит нашу волю, превратит нас в «служебных людей» или правильней - в «людей вспомогательных»...

Прибежал под навес Репин: в каком-то неистовом полу-испанском полу-индейском костюме – в голове перья, к плечу привязан верёвочкой золотой эполет.

- Франциско да Миранда, венесуэльский ревкомовец 18-го века, - представился он. В южной России на карантине два месяца провалялся, потом в Санкт-Петербург за военной помощью кинулся. Там даже с Екатериной Великой схлестнулся. А потом, уже сидя в тюрьме венесуэльской, этот самый Франциско правильные вещи про карантин говорил! - выдохнул он и в бессилии от тяжкой роли сходу опустил свой зад на берёзовый пенёк.

- По диким степям Аргентины... - снова затянул Солдат.

- А дальше-то что? Ты не рассказывал. Ты гляди, от этого ковидища тоже писателем станешь! Все теперь в компах пишут. Одна только я кренделя пред вами ногами выписываю!

- Писателем? Да не дай Бог, - отшатнулся Репин от малорослой Руты, - хуже доли надзирателя - жизнь российского писателя! Если не лизоблюдничаешь, рассказываешь всё, за чем надзираешь, что плохого видишь, – фиг тебе, а не повышенная пенсия, фиг тебе, а не премии.

- Не заливай, откуда знаешь?

- Так я зимой с одним письменником подлёдную рыбу ловил. Верней он ловил, а я сто рублей у него выманивал. Он мне рыбки дал, а ста рублей, говорит: хоть убей, браток, нету. Я говорит, в ранней юности Паустовского знал, мне за одно за это награду правительственную дать надо. А теперь я беднее тебя. Хорошо говорит, что Константина Георгиевича теперь нету, а то заплакал бы он.

- А Георгич это кто?

- А Бог его знает, неведомый какой-то писатель.

Бухметьев стал мёрзнуть, костерок, остерегаясь вечерней полиции, закидали остатками кускового снега. Денис попросил раздуть снова. Думал что-то ещё услышать. Необычно тут было всё, не по-книжному. И бомжи не такие, какими их представляют, оказались.

- У тебя паспорт есть? - спросил вдруг Солдат, - да не боись, отбирать не будем. Вдруг участковый тут рысцой пробежит. Так ты ему паспорт покажи. Ты где прописан?

- Недалеко, на Судостроительной.

- Чудостроительная, - сладко рыгнул Репин, - когда-то и я на ней жил. Магазинов – штук восемь. В аптеках – боярышник, пустырник.

- А чего ж съехал?

- Пока меня лечили, жена квартиру продала и в Польшу слиняла. Ищи-свищи теперь. А новые хозяева на порог не пускают. Мол, не их дело. Ну, а в полиции... Да чего тебе рассказывать. Сам, небось, знаешь. И тебя жена, видать, из дома выгнала?

Бухметьев хотел сказать, что просто ходил изучать обстановку. Но не сказал, молча кивнул: мол, выгнали.

- Недавно?

Бухметьев опять кивнул.

- То-то я смотрю ты ещё свежий, не изгаженный. А паспорт как же она не отобрала у тебя. Спрятал?

Бухметьев кивнул в третий раз.

Нужно было уходить, разговор приобретал ненужные и к тому же резкие черты.

- Приду завтра.

- Ну, вот тебе напоследок, чтоб спалось хорошо. Рутя, покажи ему, что в овраге нашли.

Рутя принесла какие-то штаны. Приглядевшись, Денис увидел: на штанах волосы густые шевелятся, не штаны, а шкура с ног!

Он подался назад.

- Да ты не бойсь, керя! Мы не душегубы. А к стати и не бомжи мы.

- А кто же тогда?

- Мы – обитуты. Ну, по-вашему, обитатели улиц. Или, по-другому – жилподы, жители подвалов.

- Ты про штаны-то ему, Солдат, скажи!

- И скажу. Тут в Дьяковом городище два колдуна недавно схлестнулись. Сами они приезжие, но пришли зачем-то именно туда. И не настоящие они колдуны. Так, деньгу зашибают. Так вот сошлись они в Дьяковом городище. А чё? Место пустынное. От них и остались эти штаны человечьи. От их главного колдуна по наследству перешли. Так из их криков выходило. Спугнула их полиция. Они там ходов-выходов не знали, растерялись – кинулись кто куда. Ну а мы тут как тут, под носом у полиции штанцы увели. Впопыхах хватили. А когда увидели, что это за дрянь – уже как-то к ним попривыкли.

- Всё равно их выкину, нет, лучше закопаю поглубже! - завизжала Рутения.

- Ага. Я тебя закопаю. Продадим таким же колдунишкам. У нас их много развелось. Но ты с ними нас не равняй! Мы не обыватели и не правоохранители. Не бандиты и не олигархи. Не самоизоляторы. Мы просто люди. И если людское ещё кое-где осталось – так это в нас, бомжах... Не веришь? Не веришь, я спрашиваю?!

Бухметьев всё-таки оторвался от пенька, встал, ушёл.

Дикая, буйная радость от того, что эти самые «обитулы» не оказались подонками, сохранили людское достоинство, что если Земля и в самом деле Остров Карантин, то всё же Остров прекрасный и для людей покуда незаменимый - полоснула его по дороге домой. Аж сердце зашлось.

Несколько цитат прозе Бориса ЕВСЕЕВА

«Борису Евсееву уже нашли академическое определение. И даже поставили у истоков новой школы - школы феноменологического письма. Энергия у Евсеева - внутри фразы, в ее тактильности, вкусоности, плотности. Тайное и непонятное выявляется. Бытийное проступает в миражном».

Лев АННИНСКИЙ. «Независимая газета», НГ-ЕХ Libris

«Евсеев приходил в литературу долго и трудно, через занятия музыкой, диссидентский опыт, непонимание издателями его своеобразного языка и стиля. Евсеев пишет "густо". В его прозе вообще всего много: звуков, запахов, которые выражаются редкими, незатертыми словами. Каждое слово кладется как бы отдельно, бережно обдуваемое и взвешиваемое на ладони. Но из конечной кладки выходит дивное строение...»

Павел БАСИНСКИЙ. «Российская газета»

«Прозу Евсеева последних лет отличают художественно-стилевые, жанровые эксперименты, направленные на преодоление сдерживающих рамок литературного канона, но парадоксальным образом и на развитие классической традиции».

Алла БОЛЬШАКОВА. Учебник «История русской литературы XX века», ч. II.

«Борис Евсеев, несомненно, принадлежит к числу наиболее серьезных и перспективных представителей современного литературного процесса в России. Его особый взгляд на призвание литературы и значимость языка оправдывает мнение, что вместе с этим бытописателем картин русской жизни, в литературный контекст начала XXI века возвращается «большая русская литература».

Ханнелоре УМБРАЙТ. Журнал «Октябрь»

«Борис Евсеев, культовый писатель, занимающий совершенно особую нишу в нынешнем литературном процессе. Проза Евсеева - это онтологическая примета нашего времени».

Евгения КУЛАКОВСКАЯ. «Московская правда»

«Научный труд **Евгении Кулаковской** «Звук времени. Онтопозтика прозы Бориса Евсеева», является тщательным и глубоким исследованием творчества крупнейшего современного прозаика, одного из ярких представителей новейшего реализма»

Роза СЕМЬКИНА. «Литературная Россия»

A portrait of an elderly man with white hair and a beard, wearing a brown jacket over a light-colored shirt. He is looking slightly upwards and to the left. The background is a dark blue night sky filled with numerous stars and a faint nebula.

Борис Тимофеевич ЕВСЕЕВ – представитель «задержанного» поколения нашей литературы. Вхождение в официальную печать было перекрыто молодому автору после того, как в 1974 году он открыто выступил в защиту свободы слова в СССР. До начала 90-х Евсееву приходилось писать «в стол», а на жизнь зарабатывать музыкой и журналистикой. В 70-80 годы он публиковал свои произведения в Самиздате.

Сейчас Борис ЕВСЕЕВ – признанный мастер прозы, лауреат многочисленных отечественных и зарубежных литературных премий. Его сочинения переведены более чем на 15 языков. Виртуозное владение словом, словно бы «овеществлённый», сочный и яркий язык, неусыпное внимание к экзистенциальным сторонам души человеческой, – главные качества этого писателя.